

Роберт БАЛАКШИН

ЧЕЛОВЕК-РЕКА

РАССКАЗЫ

Вологда. 1998

Роберт БАЛАКШИН

Последняя моя книжка вышла восемь лет назад. Поэтому будет не лишним сказать несколько слов о себе. Родился я в деревне Коротыгино Грязовецкого района в предпоследний год войны. Отец мой работал в ту пору директором совхоза. В младенчестве меня перевезли в Вологду, так что человек я по образу жизни и мышления городской, хотя Вологда еще в пятидесятые годы была похожа, говорю это без насмешки, на большую деревню: прямо в центре города пели петухи и бродили куры, а Золотуха была такой чистой, что в ней купались. И все же проза моя целиком городская, действие большинства моих произведений разворачивается в Вологде. Быть может, несколько странной, но в ней.

Я учился в школе, в строительном техникуме, служил в армии, потом работал землеопом, каменщиком, дворником, учился заочно в пединституте.

Люблю Гофмана, Гёте (кстати, его «Сказка» даст сто очков вперед всем сюрреалистам), Булгакова. В детстве зачитывался «Черной курицей» Погорельского и сказками Гауфа. Люблю видеть и часто вижу сны. Возможно, эти мои рассказы тоже кому-нибудь покажутся снами, причудливыми узорами фантазии, но об этом судить читателю.

БРИГАДИР ЗЕМЛЕКОПОВ САША ГОЛОВACHEВ И ВСЕКРЫССИЙСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ

(достоверное повествование)

Мышиный король был тут как тут,
и еще отвратительней, чем в прошлую
ночь, сверкали его глаза.

*Э. Т. А. Гофман, «Щелкунчик и
мышиный король»*

1

Если бы Саша Головачев знал, что произойдет сегодня с ним на работе, и что последует за тем, он бы шагу не сделал из дому — сказался бы больным, взял отгул, предпочел бы, чтоб его вообще уволили с работы, лишь бы избежать случившегося.

Но, увы, людям не дано знать будущего, как бы ни уверяли их в обратном многочисленные шарлатаны: астрологи, гадалки и ясновидцы, и миллионы людей каждое утро в блаженном неведении перешагивают порог своего дома, выходя навстречу уже ожидающим их событиям, которые ни предугадать, ни изменить, ни отсрочить невозможно.

Так было и в этот раз. Совершилось великое событие, исковеркавшее жизнь Саши и жизнь возглавляемой им бригады, прогремело громом отдаленной грозы и затихло.

Как часто бывает, великое событие началось с деяний самых что ни на есть незначительных, мелких, в нашем случае из года в год повторявшихся в конце каждого месяца, когда Саша вместе с мастером участка Димой в бригадном вагончике закрывал наряды. Процедура эта была малоприятной, нервотрепной, потому что Саша добивался, чтобы сумма зарплаты была как можно больше, а мастер Дима, сдерживаемый накинутаой на него уздой фонда зарплаты, не имел возможности полностью удовлетворить пожелание бригадира. Саша понимал мастера, но тем не менее сердился на него, ругался, курил папиросу за папиросой,

хмуρο поглядывал в окно, думая, что мужики будут вдвойне недовольны, ведь в этом месяце вкалывали как следует, ломили по-настоящему, зарплату же получают прежнюю.

А в это время, в другой половине вагончика, за фанерной перегородкой, мужики, пообедав, рубились в домино. Слышался стук доминошных костей по столу, победные вопли: «Встать, смирно!», смех, обыденная, на которую не обращают внимания матерщина. Вдруг воздух распорол старший, не человеческий взвизг, с грохотом обрушилась на пол длинная, общая скамья, послышались возня, хлопнула разлетевшаяся вдребезги стеклянная посуда («Литровая банка-пепельница» — отметил Саша) и вагончик наполнился частым хрустом стекла под множеством топчущихся ног.

Саша переглянулся с мастером: драка?, привстал за столом, но тут дверь приоткрылась и к ним заглянул Вовка Полстаев — неофициальный зам. бригадира.

— Саша,— запыхавшись, выпалил он,— мы крысу поймали. Сходи, посмотри. В шкафу сидела.

Саша внимательно осмотрел своего зама: кажись, трезвый, и, затянувшись папиросой, повернулся к мастеру.

— Поищи у себя в талмуде — шестнадцатого числа за подтоварником за лесобиржу ездили...

— Саша,— позвал Вовка.

Бригадир раздраженно отмахнул рукой: досуг мне ерундой заниматься.

— Саш,— не отлипал Вовка.

— Да вы чего, дураки что ли? — разгневался Саша. — Крыс я не видел, пойду посмотреть. Убейте, да выкиньте к чертовой матери.

— Понимаешь, тут, в общем,— мялся Вовка, не договаривая что-то важное.

Бригадир встал и, скрипнув зубами, направился на рабочую половину вагончика.

Когда Саша Головачев, высокий, что называется — прогонистый, не злой, но решительный, а когда нужно жестокий мужик, оказался на рабочей половине и шагнул среди расступившихся мужиков, он, как и все присутствующие, остолбенел. В горле у него пересохло, глаза изумленно округлились, а в голове жаркий молоточек гулко отчеканил: чушь! не может быть! Между железным ящиком с гаечными ключами и переносным трансформатором, который давно собирались отправить на пере-

мотку, прижавшись к плинтусу, действительно сидела крыса. Здоровенная, величиной с кошку, со складкой жира на загривке, с длинным, змейчато елозившим по полу хвостом, но — голова!, голова у ней была — человечья. Внутри у Саши, то ли в животе, то ли в груди, то ли в самой душе что-то начало тяжело и надрывно переворачиваться, словно весь мир становился с ног на голову, пока он неотрывно рассматривал эту с хорошее яблоко голову — с ушами, носом, с четким пробором седых волос по правой стороне. Судя по полным, сытым щекам, по крошечной, с маковое семя родинке у правого глаза, по затравленному, но все же презрительному взгляду карих глаз, крыса была из начальников. И не из малых.

Саша чуял затылком тихое, напряженное дыхание мужиков, сгрудившихся за его спиной, ловил взгляд бусинок-глаз диковинного зверя, словно шильцами покальвывавшими в его сторону, и жуткая мысль, что он сошел с ума, на мгновение оледенила голову. Но что же, тогда, выходит, вся бригада чокнулась?

На половине мастера отворилась дверь. Дима шел сюда. Саша с облегчением вздохнул: мастер сейчас все растолкует, обернулся и — ах! — в этот миг зверина сиганул на трансформатор, еще прыжок и скроется в открытом окне. Саша схватил кочергу, в полете сбил уже прыгнувшую тварь на пол и одним ударом зашиб ее. Отбросив печной инструмент, двумя пальцами он поднял убитого за самый кончик гладкого, блестящего, как шнур электроплитки, хвоста, показал его побледневшему Диме, пинком открыл дверь вагончика и вышвырнул дохлятину в котлован. А потом долго, тщательно мыл руки с мылом, намывая их до локтей, и с отвращением, звучно плевался. Когда он шмякнул урода по шее, у того отвисла нижняя челюсть и на пол вытекла потяготная, кровяная слюнка. От воспоминания о слюнке Сашу, человека вообще-то небрезгливого, крепкого нервами и желудком, едва не стошнило.

— Зря все же ты его укокошил, — в конце дня, когда Саша запирал вагончик, сказал Дима.

— Любоваться на него?

— Не любоваться, а в зверинец сдать. Это же чудо природы. Мутант. Или бы в институт научно-исследовательский подарить, пусть бы ученые с ним разбирались.

— Ученые разберутся, — недоверчиво сказал Саша, — что они по улицам завтра забегают. А как ты слово-то сказал: му..., — Саша смущенно не договорил.

— Мутант,— улыбнулся Дима.— Перерожденец, выродок. В античном мире, особенно до появления христианства, такое случалось весьма часто: то ребенок родится с головой собаки, то теленок с двумя головами. Как правило, это происходило накануне каких-либо общественных потрясений.

Саша уважительно слушал мастера. Несмотря на ежемесячно повторявшиеся сцены ругани и взаимного раздражения при закрытии нарядов, в остальное время бригадир с мастером жили душа в душу, уже восьмой год неразлучно кочуя с объекта на объект. Когда однажды начальник управления вздумал перекинуть Сашину бригаду на другой участок, Саша сказал, что лучше уволится, но у другого мастера работать не станет.

2

Дома Саша поужинал, вполглаза посмотрел футбол по телевизору и лег спать.

Всеми мыслями он был по-прежнему на работе, странный, несообразный зверь не выходил у него из головы. Но желание сна побороло думы и, словно в вознаграждение за пережитое, посетил Сашу чудный сон. Снилось ему, будто он в армии, и бегут они вместе с парнями из летнего полкового лагеря в самоволку. Вообще-то какая это самоволка — яблоч в совхозе-плодопитомнике поесть, да с девками совхозными потреться, а если посчастливится, то и поцеловать какую из них. Название одно, а не самоволка. Бегут они, вьется лесная тропинка, поют птицы, солнце ласково играет на светло-медных стволах сосен. И радостно Саше думать сквозь сон, что ему не сорок лет, а снова он молодой, двадцатилетний солдат из лихой второй роты, лучший пулеметчик батальона. Вот уже близко опушка леса, вдали, за соснами, мелькнули ровные ряды посадок питомника, и манящие, белые косынки девчат, как вдруг в сон тараном вперлась морда убитого сегодня Сашей крыса.

— Отвечай немедленно,— заполняя мордой пространство сна, грозно хрюкнул крыс,— почему ты так грубо обошелся со мной?

— А кто ты такой, чтоб с тобой нежничать? — машинально, не успев ни удивиться, ни испугаться, ответил Саша.

— Я — всекрыссийский президент. Особа неприкосновенная,— важно объявил упитанный крыс.

Саша поразился (и у крыс есть президенты!), но ответил, преодолевая внезапно прихлынувший к сердцу ужас:

— Тогда и веди себя по-президентски, а не шастай по шкафам, не гадь на столе.

— Ты еще поплатишься за это,— пригрозил незванный пришелец.

— Идешь ты..,— послал его Саша.— С такими, как ты, у меня разговор короткий: по мозгам и не помойку.— И Саша повернулся на другой бок, мечтая досмотреть сон с питомником.

Однако сон не вернулся, он был сломан. В голове, как в бетоноемшалке, перетекала от края к краю рыхлая белиберда из марширующих солдатских сапог, ожившей фотографии на газетном клочке, очереди в магазин, морга, хохочущих, подпITYх мужичков, ясного солнечного дня, и вдруг — через все это, через головоломную, не до конца понятную, но привычную кутерьму жизни протиснулось мускулистое, длинное крысиное тело. Прокатилось сквозь сон, сквозь жизнь, оставив в ней черную, с завывшим студеным, подвальныйм ветром дыру.

Саша обмер и— проснулся. Долго лежал в кровати, боясь шевельнуться, поднялся с постели, босиком прошел на кухню, хмуро курил у окна. Что за дьявольщина прицепилась к нему с этой крысой? До женьитьбы он много лет скитался по общагам, за годы работы сменил десятка два, если не больше вагончиков, повидал и мышей, и крыс, но — чтобы сниться, да еще и разговаривать, такого не бывало.

За окном раскинулся ночной город. Цепочки светильников обозначали проспекты и улицы. В темных башнях и коробках жилых домов кой-где светились окна. И там кому-то не спится. Времени — два часа. Рассветет не скоро.

Саша выпил бутылку молока, закусив краюхой черного хлеба, выкурил еще папиросу, лег в постель в тревожном ожидании, а заснул без помех и безмятежно проспал до утра.

На работе весь день шел бетон, МАЗ за МАЗом, работали молча, курили редко. В обед кто-то завел речь о вчерашнем, обратившись к Саше, а он не захотел продолжать разговор, ушел на половину мастера, листал там газеты и журналы за прошлые годы. Шуршали страницы, мелькали знакомые, лукавые физиономии. Газетные листы пестрели верткими, как слова фокусника, заголовками о социализме с человеческим лицом, о народной дипломатии, о рынке, о гласности. Один политик ложился на рельсы позади просвистевшего поезда, другой убеждал народ, что если всем не есть 500 дней, то наступит неизбежное изобилие, третий предлагал выдать каждому гражданину по пистолету, чтоб сподручнее было обогащаться, четвертый... Все говорили, звали, обещали, но посу-

лы правды, добра и справедливости странным образом оборачивались делами зла. Какие бы слова ни звучали, на деле продолжались многолетние, как он помнит себя, только еще более бесстыдные обман и вранье.

Утром он не посмотрел туда, мешала какая-то тяжесть на сердце, а сейчас, после газет потянуло. Он вышел из вагончика, отыскал взглядом ржавый железный лист, на который вчера шлепнулся мертвый уродец. Лист был пуст. Видимо, тело уволокли постаревшие, беспризорные кошки, ютившиеся в каналах теплотрассы, и сожрали его. А, может, это сделали сами крысы. У них такое водится.

Саше стало противно, что он думает о крысах, он плюнул, пошел прочь. А за спиной уже гудел пришедший МАЗ с бетоном.

— «Бугор», куда сваливать? — опустив стекло дверцы, кричал шофер.

— Вон, к тому колодцу, — показал Саша. — Не весь, полмашины. Остальной к следующему.

Мужики выходили из вагончика с засученными рукавами рубах, загорелые, здоровые, веселые и, глядя на них, а потом в работе, Саша забывал ночной кошмар. К вечеру он вовсе выветрился из души. Осталось слабое, неприятное чувство озноба по коже, как если на зуб попадет песчинка, но и оно проходило.

Дома вечером Саша поужинал, посидел, как обычно, у телевизора, подымил на балконе и лег спать. Заснул скоро и только окунулся в успокоительное забытье сна, как опять увидел его. Сначала опешил, но, мигом припомнив минувшую ночь, ужался всей душой в боязливый комок, затаился.

Если в прошлый раз президент был в своем природном, шкурном обличье, то сегодня он счел нужным одеться по-людски: в белую, с вольно расстегнутым, отложным воротником рубашу, серые, превосходно выглаженные брюки, светлые, летние сандалеты и модную нынче, матерчатую спереди, сеточную над головой кепку, с орлом, рогато растопырившим крылья.

— Здрассьтегосподинбригадир, — сквозь зубы прошепелявил крыс, с кислой гримаской протянул Саше правую лапку с бледно-розовыми перепонками меж шерстистых хилых пальцев. Вторичное явление гостя настолько потрясло Сашу, что он только растерянно тряхнул головой в ответ.

Саша дивился на густую, плотно-серую, с искрами серебристых волосин звериную шерсть, яростно выпирающую из ворота рубахи, и дет-

ское, паническое чувство ужаса поглощало его. Сердце пронзило неодолимое желание заорать, завизжать и — Саша проснулся.

Он порывисто сел на кровати. Испарина холодного пота проступила на лбу. Тело сотрясала частая, из глубины души восходившая дрожь.

— Шурик, ты что? — потревоженным, вялым голосом спросила в полусне жена. — Спи, родной.

Озираясь, Саша шарил испуганным взглядом по стенам, потолку, как будто крыс мог быть везде. Сердце загнанно колотилось в висках.

Сколько времени он сидел на кровати, Саша не знал. Сон одолевал его, голова клонилась к подушке, а Саша боялся лечь. Ляжет и опять увидит его — черноватые с бледными прожилками коготки на пальцах, колечко часов на запястье, золотую фикса на резцах, опухшую то ли с похмела, то ли с пересыпу ряшку.

3

Так началась для Саши Головачева ненормальная, двойная жизнь с президентом. Каждую ночь, только он засыпал, в сон просовывалась довольная морда с подрагивающими от возбуждения усиками. Затем объявлялся сам хозяин усов, вольготно разгуливал по сну, топтал его и гадил в тот самый момент, когда Саша, вспомнив себя ребенком, видел во сне умершую мать и сердце его умилялось от прежней любви к ней. Саша пробуждался, заставлял себя уснуть, а крыс уже стоял наготове с какой-нибудь мерзкой каверзой.

Саша попробовал скрыться от наваждения, заночевал не дома, а у двоюродной сестры. Жалкая уловка. Ровно в полночь крыс спрыгнул с подоконника в марлевом колпаке на голове, в клеенчатом фартуке, надетом поверх грязно-белого, заплатанного халата. Он построил из своих кургузых, кривых пальчонков «козу», бодал Сашу в живот, противно, как нянька в яслях, сюсюкал:

— А-а, вот мы куда сплятались! А мы вас насли! Тю-тю-тю.

Саша не высыпался, приходил на работу с гудящей, распухшей от бессонницы головой, собачился с мастером, остервенело рычал на мужиков, с трепетом ожидая наступления ночи.

Укладывался в постель и долго лежал с открытыми глазами, надеясь утомить себя, чтобы крепче заснуть. Но только смыкались усталые, воспаленные веки, как тут же в первой, паутинно-нежной клеточке сна мелькал тонкий, как шило, стремительный кончик крысиного хвоста и Саша просыпался, словно от удара электротоком.

На пятую или шестую ночь, изнемогая от усталости, Саша впервые в жизни принял снотворное и только чудом не лишился рассудка. Крыс не замедлил явиться и в этот сон, с удовольствием рассказывая Саше о всех его больших и малых прегрешениях, о случайных и намеренных постыдных делишках, которые есть у каждого человека. Многих из них Саша стыдился, постарался забыть и, думалось, схоронил в памяти навеки, но крыс, взломав память, выволакивал их оттуда и расписывал — привирая — с такими срамными подробностями, что Саша ужасался собственной низости и грязи. Саша жаждал проснуться, бился, как в клетке, а проснуться не мог: таблетка, отравившая мозг, держала сон на запоре.

На другой день Саша чуть не погиб на работе. Шагая с Димой по кромке котлована, он задремал на ходу, оступился, еще шаг — и полетел бы на разбитые своейбойкой оголовки свай с торчащими пиками арматурных прутьев. Почуввав неладное в его неверном шаге, Дима рванул его за рукав, оттащив от края. Очнувшись от краткого, как падение звезды, сна, ощутив резкий, рассердивший его рывок, Саша заорал на мастера, а когда тот попробовал что-то объяснить, покрыл его таким разъяренно-похабным матом, что сам потом со стыдом изумлялся: откуда они взялись у него — эти наотмашь хлещущие, как оплеухи, слова? Оскорбленный Дима назвал его набогодарной свиньей и убежал в вагончик.

Не понимая, что произошло, Саша все-таки смутно чувствовал свою неправоту, однако извиняться перед кем-либо было не в его характере. Долголетние, приятельские отношения с мастером были порваны напроць.

Начались нелады и в бригаде. Бригада Головачева славилась в управлении постоянством состава, текучести в ней почти не было, к Саше просились, а он еще не всякого брал. Саша был известен, как грубый, ни с кем не церемонившийся бригадир, но человек честный, работающий, горой подымавший за своих мужиков, умеющий из глотки вырвать у снабженцев необходимые для работы материалы. Зарботки у него были высокие. Однако за последние дни мужики стали недовольно ворчать, а двое — чеканщик стыков Витя и плотник Игоряха, работники безотказные и незаменимые, напрямик сказали, что «бугор»-псих их не устраивает, они уходят.

Обычно Саша сам гнал из бригады провинившихся (за лень или несвоевременное пьянство), а тут Витя с Игоряхой бросили его. Это больно ущемило его самолюбие. Преодолевав страх и отвращение, Саша решил в ближайшую ночь объясниться с президентом.

И только показалась его усатая харя, раздвинувшая сон, спросил написто:

— Отвечай, не увиливая, откуда ты взялся на наши головы?

— Обижаете, мужик,— с интонацией известного прораба, громогласного верзилы, туповатого выпивохи и бабника, сказал крыс.— Я не взялся. Вы меня сами выбрали.

— Да ты что?— ахнул от такой наглой залипухи Саша и едва не проснулся.

— А вспомни-ко, браток, как год назад,— крыс назвал весенний месяц и точное число,— вы обмывали получку и кто-то сказанул со смехом: у всех есть президенты, а мы что — бедные?, давайте и мы себе выберем. Стамеской вырубил чье-то лицо из газеты, слюной прилепили к плакату о борьбе с домашними вредителями и единогласно проголосовали «за». Впрочем, сейчас можно сказать правду. Двоих мужиков, гонцов в лавку за вином и закусью, не было, трое не голосовали (они помирали со смеху от этой затеи), один был против. И вот я перед вами, впервые за тысячу лет рабства законно избранный ваш президент! («А в бригаде десять гавриков»,— подумал Саша.)

Крыс поклонился как артист на сцене и взмахнул лапками. Сегодня он вырядился в пиджак с огромным выемом спереди, открывавшим живот и грудь в белой, туго накрахмаленной рубашке. Шею его украшал размашистый, шире крысиных плеч, в три полоски галстук-бабочка, а на ногах красовались лакированные, с высокими каблуками и золочеными пряжками полуботинки.

Глядя на серого клоуна, гнувшегося перед ним, на длинные, как крылья стрижа, полы пиджака, на алмазные горошины запонок, мерцавшие в манжетах рукавов, Саша, с усилием продираясь памятью в чащобе дней, вспомнил: Да, да, было — не вранье. Вырезали из газеты, наклеивали, выбирали и даже чокались с ним. Оказывается, вот с кем! Да как же так? Почему какой-то шут гороховый, выбранный наспех, сдуру президентом, может хозяйничать в его снах, ломать и калечить его жизнь?

— До каких же пор ты будешь мучить меня? — с мольбой воскликнул Саша.

— Пока нового не выберете! — ответил притвора, торжествующе хохоча.

Саша в восторге проснулся от этой избавительной мысли: перевыбрать прохвоста и дело с концом. Но утром, обдумывая, как это совершить практически, Саша понял торжество неотвязной твари.

Кого переизбрать? Ту фигурку с прислуживленной к плакату головой, которую давным-давно вместе с прочим сором вымели из вагончика? Или ночного посетителя? Но как расскажешь о нем?

В этом и заключалась отчаянная безысходность ситуации. Мужики, видевшие, как он собственноручно уделал крыса кочергой, сочтут рассказ о лиходее его снов чепухой и не поверят ему. Жена, выслушав такую притчу, скажет: «Дыхни.» — и когда он дыхнет, чтобы удостовериться ее в своей абсолютной, многодневной трезвости, покрутит пальцем у виска. Могли помочь врачи, у них наверняка имелось какое-то средство, чтобы эта гадость не мешала ему спать, но как человек, находящийся в здравом уме, Саша горестно сознавал: лишь только он поведает о хвостатом супостате какому угодно врачу, то на другой день жена понесет ему передачу в дурдом. И носить их будет долго — возможно, всю жизнь. Залететь в это заведение проще пареной репы, а выбраться оттуда тяжеленько.

Его мог понять и что-то посоветовать Дима, но мастер теперь и не здоровается с ним.

— Когда перевыборы? — похохатывая, осведомился ночью крыс. В драной, заляпанной грязью и брызгами раствора фуфайке, из кармана которой подмигивало горлышко чикושки, он взгромоздился на бочку из-под солярки, чадил самокруткой из прогорклой, душной махры.

— О, сволочь! — сдавленно простонал Саша.

А крыс, будто прочитав его мысли о врачах, и желая доказать, что чихать он на них хотел, этих якобы всеильных людей в белых халатах, переселился теперь в дневную жизнь Саши, отныне не расставаясь с ним круглые сутки.

Не раз, вздрогнув, Саша наблюдал, как, запрыгнув на стол в вагончике, незримый для всех, кроме него, президент, усевшись грязным мохнатым задом на стакан, из которого опохмеляющиеся мужики сосут мутный, липкий портвейн, покуривает заморскую шикарную сигарету с золотым ободком и, верный своей привычке, гадит в стакан.

Или на собрании у начальника управления он сходил с портрета дедушки Ленина, отряхивался, как мокрая собака, умывал лапками морду, распушал усы и, прыгнув на стол начальника, шевелил под носом у него служебные бумаги.

— Прикройте дверь, сквозняк, — сердился начальник, хотя сквозняка быть не могло, форточка за его спиной была закрыта.

А президент, вскарабкавшись по лацкану пиджака начальника, утраивался на его широкой, вспотевшей лысине и, делая вид, что ищет

у себя блох, то и дело зыркал лукавым взглядом на Сашу, который, как загипнотизированный, глядел на него.

— Головачев, ты что-то хочешь сказать? — по своему понимая Сашин взгляд, спрашивал начальник.

— Нет, нет, ничего, — покраснев, бормотал Саша, а начальник вынул из кармана клетчатый платок, обтирал им лысину (рука проходила через крыса, не причиняя ему ни малейшего беспокойства), продолжая совещание.

И ведь сказать ничего нельзя. А ну-ка обрадуй начальника, что у него на темечке чешется крыс, и без врачей загремишь в психушку.

Саша потерял сон, аппетит, похудел. Жена заметила это. Собираясь в гости, она отпаривала мужнины брюки.

— Шур, — озабоченно спросила она, — ты что, худеешь?

— С чего ты взяла? — с напускным безразличием спросил он.

— Посмотри на ремень-то в брюках. На две дырки против старого туже застегиваешься. У тебя не рак?

Саша ушел курить на балкон. Похудеешь тут. Всего лишь за три недели жизнь уткнулась в глухой тупик. На работе непрерывная ругань, все из рук валится, и Дима вчера сказал, как отрезал, что ему такой бригадир не нужен. Жена, почуяв, что с ним что-то такое творится, поняла это по-своему, по-бабски: приревновала его неизвестно к кому, стала следить за каждым шагом, придираться к словам, кричать со слезами, что все мужики — мерзавцы, одно у них на уме. Раньше хоть дома была отдушина, а нынче — в пору с балкона вниз головой. И сосед по даче, домовитый, запасливый хохол, с которым они и выпивали, и на рыбалку без счету раз ездили, на днях отколол номер, толкнул речугу, что полоска Сашиного огорода за канавой принадлежит ему. Надо изменить границы участка. Саша по-дружески увещевал его: перестань, соседушко, окоlesiцу нести, земля эта искони моя. Сосед, окрысившись, кинулся на него с лопатой. Саша схватился за топор. Отставной полковник, трудившийся неподалеку, бросился к ним, отвратил беду.

А президент уж тут как тут.

— Хочешь спалю его, заразу? — участливо шепнул он. Мстительно сощурившись, Саша чуть не выдохнул: «Валяй!», но смолчал. И не потому, что пожалел куркуля-соседа (так бы ему ненасытному жлобу и надо), а усек подвох в президентском совете. Покамест крыс изводит его только по злобности своей натуры, но если он окажет ему услугу, сделает его

своим должником, так он же тогда веревки вить из него станет, не отвяжется ни за какие коврижки.

А Саша верил, надеялся и ждал, что когда-нибудь просияет и для него день освобождения.

Хотя терпеть становилось все трудней, невыносимей. Не встречая сопротивления, крыс распоясался окончательно. Спал с Сашей в одной кровати, укладываясь прямо на подушку. Спал, блаженно похрапывая, а Саша заснуть не мог от этого забористого, с причмокиванием храпа и стойкого, могильно-подвального смрада, исходившего от президента во что бы он ни рядился. Проснувшись утром, крыс вместе с ним умывался, чистил его щеткой зубы, ел с ним из одной тарелки, следовал на работу (трусил рядом, как комнатная собачонка, вперед всех врывался в троллейбус и, конечно же, не брал билета), безобразничал в вагончике, а вечером устраивался на подлокотнике кресла смотреть телевизор, отпуская идиотские, не смешные шуточки.

И всюду — гадил. Всюду. Саша не знал ранее, что первейшая заповедь крысы — везде гадить. Никто не видел и не подозревал, что уютная, чистенькая квартира Саши, в благоустройство которой он вложил столько старания и любви, трудами президента давно превращена в крысиный сортир.

— Как тебе не стыдно? — не стерпев, крикнул он в сердцах этому паразиту. — Ты же президент.

— Поэтому и делаю, что хочу. Такая моя тяжкая доля, — надменно процедил крыс, явившийся сегодня в образе спортсмена: в безрукавке «адидас», фирмовых джинсах-шортах, в неизменном кепарике с рога-той птицей и с теннисной ракеткой под мышкой.

Саша, возмущившись наглой речью, хапнул этого игрока своей цепкой ладонью, надеясь удавить гадкого негодяя, но ладонь схватила пустоту.

— Ха-ха-ха! — брызжа вонючей слюной, потешался любитель тенниса. — Близок локоть, да не укусишь.

Это была вторая попытка каким-то образом избавиться от крыса. Первая тоже оказалась неудачной.

Саша знал, что если о чем-нибудь настойчиво думать, оно рано или поздно приснится. И он думал и думал о кошке. Сибирской мурлыке, свирепой охотнице за крысами, этом ручном тигре, который выпустит кишки зловонному проходимцу.

И кошка приснилась. Именно такая, какая была нужна. С виду ленивая, полусонная, но внезапно прыгучая, с не знающими промаха и по-

щадь стальными когтями, с глазами, в которых горел зеленый огонь смертельной ненависти ко всем дармоедам, обжираящим род человеческий.

Саша предвкушал упорную битву и славную победу, а все завершилось форменным конфузом. Крыс появился в сон, с брезгливым недоумением покосился на кошку, высоко взметнул хвост и одним взмахом, как ударом бича, выщелкнул кошку из сна. Как ее и не бывало.

И ухмыльнулся, ударив лапкой о лапку.

4

На исходе четвертой недели мытарств у Саши произошла взволновавшая его встреча.

Бригадный вагончик стоял на одной из главных улиц города, и не раз, и не два сюда стучались пьянчуги, просили стакан.

— Ничего, и из горла добро пойдет,— говорил им Саша.— Больно культурные стали.

— И тебе плеснем,— прельщали они его.

— Не побираюсь. Катитесь, катитесь своей дорогой,— гнал их Саша, наученный горьким опытом, как приваживать эту публику. Пустил одного такого козла, а он втихаря рубанок спер.

В последнее время, когда торговлю водкой и пивом дозволили на кажлом углу, от хануриков не стало отбоя. И попросился к нему один мозглявенький, еле-еле душа в теле, мужичонка, с виду интеллигент. Глаза его смотрели так измученно, умоляюще, что Саша сжалился и впустил его, тем более, что президент в эту ночь свирепствовал: за то, что Саша хотел его сцапать, не дал всю ночь сомкнуть глаз.

Мужичок забрался в вагончик, достал из-за пазухи поллитровый пузырь, отковырнул гвоздем пробку, набулькал полстакана, выплеснул в рот и, занюхав рукавом, откинулся к стене. Поблекшее мятое лицо его стало оживать: скулы и кончик носа расцвели нездоровым румянцем, разгладились морщины на лбу и по нему промчалась тень проснувшейся мысли.

— Понимаешь, дорогой соотечественник, в чем трагедия нашей жизни? — вдруг ни с того, ни с сего заявил он.— В том, что власть в ней захватили крысы.

Огорошенный Саша выпучил глаза на пьянчужку.

— Идите,— крикнул он вдогонку мужикам, выходящим после обеда из вагончика.— Сейчас догоню.

— Они захватили ее о-о-очень давно,— мужичок поднял кверху исхудавший палец, а Саша глядел на его русую, жидкую бороденку, синие, добрые глаза и ловил каждое слово,— когда нас с тобой еще не было. Продолжительное время, десятилетия, они успешно прикидывались людьми, но грянул судьбой назначенный час, маски стали опадать, как первая листва в августе, и многие, но еще не все, далеко, далеко не все, увидели — бал на государственном корабле правят крысы. Всюду, если помотришь детским, незамутненным взглядом, сверху до низу, от капитанского мостика до трюма, от парламента до базара, везде ты увидишь эту серую, поганую, готовую укусить тебя своими ядовитыми зубами морду. Немало средств придумано для истребления крыс: силки, отравы, капканы. Лично я предпочитаю расправляться с ними вооруженной рукой...— Мужичок поднял взгляд на Сашу и как гвоздь забил: — Лучше всего для этой цели подходит кочерга.

Саша, казалось бы, приученный президентом к самым невероятным потрясениям, смешался. Он не знал, что думать: или это сообщник президента из одной с ним конторы, или какой-то сверхумный человек, умеющий узнавать чужую жизнь.

Саша полюбопытствовал, как относится к дерзким речам гостя президент. А он расположился на его левом плече, закинув ногу на ногу в хромовых генеральских сапожках, и залихватски высвистывал игривый мотивчик. То была давняя, забытая песенка о маленькой Мари.

*— Мари не может
Стряпать и стирать.
Зато умеет
Петь и танцевать.*

— Но мало крыса уничтожить,— продолжал гость и снова наполнил стакан.— Бушш? Не пьешь на работе. Уважаю принципиальных людей. Так сказать, физицки. Надо истребить его в душе своей. Как этого достичь? Только крысам безразлично где жить: в тропиках, в Арктике или в средней полосе России. На чердаке Белого дома, в подвале ГУМа или в заурядной квартире землекопа. Недаром это отвратное племя расплодилось по всему земному шару. Настоящий же человек прежде всего любит Родину, которая у каждого человека, что бы там не плели всякие вралы, одна. Это, во-первых. Во-вторых...

Саша снова поглядел на президента, который повел себя непривычно суетливо: бросил свистеть и, вертя хвостом, устался за окно. По губам его прозмеилась довольная усмешка. Саша перевел взгляд на ули-

цу. По дороге неторопливо катила позорная колымага — машина вытрезвителя. Вопреки всем правилам уличного движения, она вдруг свернула налево под красный свет и наперерез потоку транспорта устремилась к вагончику.

— Ах, дятел! Дешевка! — прошептал Саша, убирая со стола бутылку.

— Кто? Я? — спросил гость.

Дверь вагончика распахнулась.

— Пьем, значит, — поигрывая висевшей у пояса дубинкой, сказал молодой, рыжеусый сержант. — Это кто такой?

— Мой рабочий, — соврал Саша. — В отпуске он.

Сержант вразвалку поднялся в вагончик.

— А ты сам кто?

— Бригадир.

— Фамилия твоего бригадира? — спросил сержант красноречивого интеллигента и словно нечаянно уронил ногой бутылку под столом.

Гость переводил растерянный взгляд с Саши на хама-милиционера и обратно. А президент уже оседлал дубинконосца, поплеывая на лапку, заботливо, любовно приглаживал удалой чуб, выбившийся из-под козырька фуражки, укладывал волосок к волоску.

— Вот что бывает с такими болтунами, — поучал крыс Сашу, когда его таинственного собеседника швырнули в воронок и повезли. — И это еще самый благоприятный исход для него. Обычно это заканчивается более печально. А ты иди, работай, лопата с ломом тебя ждут.

Закипев гневом, Саша внимал высокомерным речам, с досадой понимая, что не может ни помочь тому бедолаге, ни отхлестать по щекам этого подонка.

5

Саша худел, тощал, зато президент жирел и рос на глазах. Еще недавно он умещался на краю подушки, но всего за неделю отъел такое брюхо, что и половины подушки ему было мало. К тому же оказался привередливым обжорой. Заявил, что куриный суп и борщ, которые попеременно варила на обед Татьяна, его не удовлетворяют, ему, как особе высокопоставленной, положена по чину осетрина.

— Да что ты, пес! — взвыл Саша. — Где я тебе ее достану? Я сам осетрины в жизни не едал. Мы люди не балованные, простые. Жри ты, чего дают.

— Получишь за это один день выходной,— прервал его вопли крыс. Целый день не видеть этого гада! Ради этого Саша был готов на все.

— Не день, а сутки! — решительно сказал он.

— Однако! — возразил крыс.— Интересно, кто здесь хозяин? — Но все же смиловался и продлил увольнительную на сутки.

Соглашение было достигнуто. Впереди светили двадцать четыре часа без паскудного надоеды! Но где раздобыть осетрины? Она продавалась только в валютном магазине, а Саша отродясь цента не держал в руках.

— Дуй в ломбард,— спустил директиву президент.

— А где это?

Наводчик дал адрес.

Саша было не поверил, но крыс не соврал — в бывшей областной станции переливания крови действительно разместился валютный ломбард. Саму станцию опустили в подвал, а на трех ее этажах гудом гудел взбудораженный люд. В те окошечки, куда люди раньше просовывали свои руки с напряженными венами, и сестра, заправив в вену толстую иглу, цедила в стерильную бутылочку кипучую кровь, теперь эти же люди подавали туда золотые часы, кольца, перстни с камнями, серебряные полтины и рубли советской чеканки и даже — русские золотые пятерки и червонцы. Такие счастливыцы были в редкость, каждого из них персонально вызывали в кабинет. После беседы в кабинете одни выпархивали из него с окрыленностью во взорах, а другие с унылым выражением: чем богаты, тем и рады, понуро брели по коридору.

Валюты, вырученной на Сашино обручальное кольцо (он носил его один день, на свадьбе, а потом жена спрятала его в шкатулку), хватило всего-навсего на двухсотграммовый ломоток осетрины. И то Саша поругался из-за него в магазине с хапугой-продавцом, который завернул деликатес в толстую оберточную бумагу, а на другую чашку весов бросил ключок замавленной кальки.

— Ты с какой стати расшиковался? — напустилась на него дома жена.

— Халтуру сшиб, можно позволить,— оправдывался Саша, зло поглядывая на стол: за ним в салфетке, заправленной за ворот рубахи, уже восседал серый проглот, жадно облизывая губы.

А Сашин мозг сверлила мысль: если президент и завтра потребует осетрину, где найти денег? С безмолвным ликованием он припомнил, что в рыбацкой шарманке, в коробке с мормышками у него спрятан, завернутый в почетную грамоту, серебряный царский рубль. Сколько раз

он примеривался соорудить из него блесну, и все откидывал. Вот где рубль пригодится! На него, если крупно повезет, можно будет еще один выходной отхватить.

6

Днем дорого купленной свободы Саша распорядился с умом. Взял на работе отгул, полноценно выпался, с наслаждением вымылся в бане, пропарился до самых косточек, и уехал на автобусе в пригородный парк, чтобы там наедине с природой, гуляя по берегу реки, покуривая на скамеечке, основательно обдумать свое горемычное положение.

А оно было — хуже некуда. Жизнь разъезжалась на глазах, как гнилая тряпица. На работе — развал, дома — скандал (а что будет, когда жена о кольце пронюхает!), с соседом по даче были лучшие друзья, ныне — злейшие враги. И все из-за президента.

Из сложившегося положения было два выхода. Первый — убрать президента, и тогда вернется нормальная жизнь. Не сразу, не скоро, но вернется. Второй выход — петлю на шю. Потому что терпеть уже невозможно, нервы натянуты, как струна, до предела.

Размышляя в парке под сенью высоких тополей и душистых акаций, Саша видел, что президент — это не сон, как можно было предположить в первые дни. Ведь он являлся не только ночью, но и днем. Крыс был вне сна, но и вне этой, подлинной жизни, поскольку в ней он был убит изготовленной из рубчатой арматурины кочергой. Тогда получалось, что помимо сна и естественной жизни существует еще какая-то жизнь.

С трудом усвоив эту новую и даже в какой-то мере дикую для него мысль, Саша сделал вывод, что избавиться от президента можно в том случае, если ты получишь доступ в ту, **иную** жизнь или сможешь как-то воздействовать на нее.

Но как? Если эта жизнь лежала, что называется, перед тобой на блюдечке; если во сне, пусть и самом запутанном, можно было разобраться или, в крайнем случае, махнуть на него рукой, то на президента рукой не махнешь, он обманом вломился в твою жизнь, сделав ее невыносимой, а сам при этом живет в свое удовольствие. Его же, президентская, жизнь для тебя за семью печатями. Вроде бы рядом она, но не проникнуть в нее, хоть в лепешку разбейся.

Весь день Саша провел в парке, два раза искупался, позагорал, но так ни до чего и не додумался. Думай — не думай, мысль утыкалась в стену, которую не пробить, не обойти.

Под вечер, когда истекал срок выходного дня, Саша собрался домой. Все равно домой идти надо, от президента никуда не денешься, да и проголодался Саша изрядно. За весь день он выпил в павильоне кружку пива, да съел два черствых кооперативных пирожка.

Домой пришлось тащиться на своих двоих, все денежки улетели на пирожки и пиво. Цены ежедневно взбухали как на дрожжах, он не рассчитал сколько взять наличных.

К парку примыкало старое кладбище. Саша с завистью поглядывал на кресты и тумбочки, кусты сирени у оград. Лежат себе покойнички, сложили руки на груди, о президентах знать ничего не знают.

Посреди кладбища стояла церковь. В синие церковные двери (с крестом на них) входили старухи, женщины в годах. Мужиков почти не видно. Прошел старик с красивой большой бородой, да у дверей остановился насупившийся мужчина в штанах защитного цвета.

«Что ежели о крысе у попа спросить? — подумал Саша.— Позавчера один батюшка так складно в телевизоре о бесах толковал. Может, и мой президент — бес, чем черт не шутит.»

Старухи у церкви засуетились. По асфальтовой дорожке от ворот, увенчанной крестом, сюда приближался худощавый, с короткой бородкой мужчина в шляпе. «Поп», — смекнул Саша. Насупившийся мужчина у дверей поклонился, достав рукой до земли, и шагнул к попу. Тот перекрестил ему голову, а он поцеловал поповскую руку. Сашу покорило, что мужик мужику целует руку, но, видать, уж тут такие порядки.

Все зашли в церковь. Саша побродил возле крыльца, ступил за порог, однако в саму церковь зайти постеснялся, стоял в длинном тамбуре, наблюдая за происходившим через застекленную дверь.

В церкви горели свечи, мигали лампадки у икон, кто-то красиво пел наверху. В глубине церкви из дверей выходил поп с большой книгой, поднимая ее над головой. Словно там, за этой легкой стеклянной дверью была другая страна, иная жизнь. Войти бы туда, но что-то препятствует, не пускает его.

Служба закончилась. Шагая в отдалении, Саша проводил священника до самого дома, так и не решившись подойти и заговорить. С детства он знал пропасть непристойных, пакостных частушек и анекдотов о попах, и ему думалось, что священник все это прочтет на его лице, и не то что говорить с ним не станет, а вообще турнет от себя как шелудивого, подзаборного кобеля.

А дома Саша с радостью обнаружил, что срок выходного дня истек, а крыс не объявился. Не потревожил он его и на завтра, и на третий день, и через неделю. Исчез, испарился, как ледышка на горячей плите. Несколько дней Саша вздрагивал от каждого шороха, оглядывался с трепетом на каждый мелькнувший предмет, но — УРА! УРА! УРА! — крыс сгинул бесследно. Как сквозь землю провалился.

Однако вскоре глухой ночью вспыхнула, как сноп, и сгорела дотла дачная домушка Сашиного соседа. Сгорела с импортным садовым инвентарем, с японским телевизором, с холодильником на элементах, со всем великим, в многолетии нажитым скарбом.

Еще на пожарище дымилась головешки, а мужики из Сашиной бригады уже провожали гроб с телом своего неосторожного бригадира на кладбище. В сумерки его сбила легковая машина. Наехала сзади, когда Саша, не подозревая о беде, шел по тротуару. Он скончался на месте происшествия, не приходя в сознание. Водитель-убийца скрылся. ГАИ ведет расследование.

Когда жена Саши пришла в морг, переодеть тело любимого мужа в новую, погребальную одежду, в потайном кармашке брюк она нащупала и извлекла оттуда обручальное кольцо. Пропадая вечерами и ночами на изнурительных халтурах, Саша вызволил его из ломбарда и нес домой.

НАКОНЕЧНИК СТРЕЛЫ

Только что принесли градусники. Я сунул себе под мышку стеклянную сосульку и вздохнул. Потом принесут таблетки, потом придут санитарки с тазом, умоют меня, потом завтрак, потом обход, потом массаж, потом всадят зараз пять уколов, от которых деревенеют ноги, потом придет мать, посидит, перевернет меня набок, протрет пролежни нашатырным спиртом, всплакнет, погибает мне ноги в дополнение к массажу, потом обед, потом опять уколы, потом вечер, потом бесконечная ночь — и это все тянется и длится уже три месяца, и один бог, да нет, пожалуй, и он не знает, знает разве лечащий меня хирург, когда все это кончится. Люди поступают в палату — чаще не своим ходом — выздоравливают, уходят, а я все лежу и лежу на спине и лишь в воспоминаниях могу представить, что и я когда-то мог сидеть, стоять, ходить, как и все здоровые люди. Много бы я дал, чтоб сесть, посидеть хотя бы пять минут, освободить тело от вынужденного мучительного покоя.

Перелом позвоночника и многочисленные ушибы головы.

— Тяжелый случай,— сказал хирург. Все ясно. Дай бог, если с костылями ходить буду, да и на коляске по комнате разъезжать — тоже выход, чем всю-то жизнь пластом лежать. А лежат же как-то люди. Принесла мне мать газетных вырезок: этот книжки стал писать, когда инвалидом сделался, другой модели строит, третий из дерева чего-то вырезает. Что мне это, ни строить, ни вырезать я не могу: не всякий умельцем родится. И книжки я писать не смогу. Читать их люблю, особенно историческое что-нибудь, а писать... Не та голова. Угол заложить какой угодно сумею, кладку под расшивку вести смогу. Нет уж, кто чем работать может, тот пусть тем и работает на совесть — кто пером, кто мастерком да кирешкой.

Да, видно, не поработать уж больше мне, не посидеть со своими мужиками в вагончике, не поскалиться с Валькой-крановщицей — на что я ей изломанный такой. Тяжело. Так тошно на душе делается, уж лучше

бы подохнуть, думаешь, чтоб не быть в тягость ни себе, ни людям. Иной раз кажется — немоготу уж терпеть, а все равно терпишь, хотя откуда оно и зачем берется, терпение-то? А в последнее время — это самое невыносимое — сон у меня пропал. Не могу заснуть ночью. Прикажешь себе не спать днем, а сам неприметно до обеда, да после обеда, да к вечеру часок-другой поспишь, а ночь лежишь и маешься: справа и слева от тебя храпят, сопят, стонут, ворочаются с боку на бок, что-то бормочут больные, покалеченные люди, а ты лежишь с открытыми глазами и смотришь в серый потолок. Мука. А если под утро и забудешься, то вместо успокоительного, долгого сна накатывает один и тот же неправдоподобный страшный кошмар.

...Взяв Рязань, порубив всех жителей и разорив некогда цветущий град, Батый двинулся дальше. Громадные конные подразделения потянулись по дороге. Ржут кони, слышится непонятная речь, скрипят телеги обоза. Морозный день, но в воздухе стоит тяжелый запах от потных лошадей. Вдруг — дикие вскрики, суета, визг, вой, рев, скрежет стали, свист стрел. Прорубаясь сквозь густой поток татаро-монголов, по дороге движется небольшой отряд всадников в островерхих шлемах, с прямыми мечами. Сначала отряд продвигается довольно быстро, затем все медленней и, наконец, останавливается совсем.

Согласитесь, недурно, сидя в теплой комнате, устроившись в низком удобном кресле с чашкой кофе или чаю, наблюдать по телевизору, да еще цветному, какой-нибудь исторический фильм. Какие ожесточенные схватки, какие захватывающие битвы! Как это живописно, красиво, как это щекочет онемевшие от монотонного, повседневного житья-бытья наши нервы. И как порой ни бывает страшно, как ни замираешь от ужаса и восторга, ты знаешь, что все это неправда, что в рискованных ситуациях, когда нужно свалиться с лошади на всем скаку, или совершить суперпрыжок, героя подменяет профессионал-каскадер, что дерутся герои оружием из облегченных сплавов, а кольчуги и латы на них — из сплавов, напротив, наиболее прочных, что с крепостной стены летит в ров не человек, а искусно изготовленная кукла, и что несчастная жертва, только что издававшая вопли и истекавшая кровью, разгримировавшись после съемки, спокойно занимается своими обыденными делами.

Но видеть, как в двух шагах от тебя не ловкачи-каскадеры, а обыкновенные русские мужики, которым бы сейчас в самую пору валить лес, вывозить сено с дальних сенокосов, чинить инвентарь, приготавливая к весне, то есть исполнять необходимую зимнюю мужицкую работу,

молча рубятся с озверело наседающими на них врагами, как брызжет и хлещет дымящаяся на морозе кровь, слышать, как с хрустом рубит тело меч, рвет кольчугу сабля, как крики ярости и боли заглушаются бешеным храпом возбужденных коней, видеть, как снег вокруг становится красным, как раненых, выбитых из седла, затаптывают копыта коней — в этом живописного мало. И если б самому находиться там, в этой гуще, но видеть все это со стороны, из кустов!

Отряд остановился совсем. Бой стал еще интенсивнее, а на пригорке у дороги быстро раскинули большой разноцветный шатер.

Командир отряда что-то крикнул и указал мечом на шатер. Отряд, точнее, то, что от него осталось, рванулся вперед, но не продвинулся и на шаг. Слишком неравны были силы.

Вскоре от отряда остался один Евпатий. Пеший. Татары прихлынули к нему, и какое-то время его не было видно. «Все», — подумал я, как вдруг, подобно откатившейся от утеса волне, все отхлынуло от него. Десятки людей с кривыми саблями смотрели на забрызганного с головы до ног липкой кровью, надрывно дышавшего, необыкновенно широкого, коренастого человека.

Какая же нужна мощь духа, сила, выносливость, чтобы устоять одному против множества испытанных в битвах людей!

Евпатий чуть опустил меч, по которому тотчас потекла струйка крови и канула в снег. Послышались начальственные окрики, и, нагло расталкивая толпу, к Евпатию приблизился Хостоврул, монгол огромного роста с длинной и широкой, как двуручная пила, саблей.

Наступила тишина. В этот миг тишины в глубине леса снялась с ветки и застрекотала сорока, разнося по всему лесу какую-то весть.

Хостоврул не дошел до Евпатия шага три, и они кинулись друг на друга. Что-то лязгнуло, раздался всеобщий вой, и разрубленный, как на бойне, монгол рухнул на снег.

Снова все кинулись на Евпатия. Я не видел, сколько монголов он успел зарубить перед смертью, но когда от нарядного шатра прибыли слуги и все расступились перед ними, под трупами не видно было снега.

Тело Евпатия подняли, понесли к шатру.

Батый, лениво взглянув на труп, произнес несколько одобрительных, впрочем, ничуть не задевших самолюбия его войска, слов и приказал бросить тело русского батыра в лесу. И тут я прыгнул на него. Я был единственный живой русский здесь. И не мог спокойно видеть, как враги глумятся над останками Евпатия.

Но в момент прыжка каган шагнул в сторону, и я только ухватил его за полу толстого, простеганного, как фуфайка, с меховым подбоем халата. Батый в испуге отпрянул. Нукеры кинулись на меня. Я выхватил из кармана пистолет. Защелкали выстрелы. Телохранители с протянутыми руками, с лицами, полными ярости и страдания, валились навзничь почти у моих ног.

— Шайтан, шайтан! — раздались вопли. Все застыли в нерешительности. Я посылал в упор пулю за пулей, но, нажав спусковой крючок в очередной раз, не услышал выстрела. Я сунул руку в карман за обоймой.

— Хватайте его! — раздался голос Батыя, единственного, кто не потерял самообладания и уловил мою заминку.

«Ах, надо бы первого его! Вот всегда так, в спешке упускаешь самое важное».

Обойма как назло встала поперек кармана. Меня схватили, заломили руки за спину, скрутили их сыромятным ремнем, и через мгновение я стоял перед повелителем вселенной.

Повелитель вселенной был молодой человек примерно моих лет, с типично монгольским лицом, немного одутловатым, но не лишенным известной выразительности и даже ума, которые придает человеку сознание неограниченной власти.

— Как ты осмелился, раб, прикоснуться к повелителю вселенной! — сказал Батый.

— Во-первых, я не раб, — начал я.

— На колени, собака!

Резкий пинок в поджилки поверг меня на колени. Вспыхнув от стыда, я сразу вскочил, но пинок срубил меня вновь. Лишь только я поднялся второй раз, удар плетью по голове прожег меня до пяток. Долго они еще воевали со мной, ставили на колени, хлестали плеткой по голове. Помню, поднимаясь последний раз, мне удалось хватить ртом теплого вперемешку с собственной кровью снега. И все-таки я встал!

Батый что-то проронил вполголоса, и я ощутил у губ прохладный край чаши. В чаше был какой-то удивительный напиток. Я сделал несколько глотков, в голове стало ясно, боль от побоев исчезла.

— Кто ты? — спросил Батый, когда мне сырой, пахнущей конским телом тряпкой отерли кровь с глаз. — Ты мне нравишься. И почему на тебе такая странная одежда?

Я молчал. Что я ему скажу? Что я — Валентин Соколов, живу во Флотском поселке, в городе Вологде, областном центре республиканского

подчинения, работаю каменщиком в СУ треста Вологдасельстрой, образование — десять классов, беспартийный, для повышения общего уровня читаю историческую литературу, год, как из армии пришел, не женат, полочку матери отдаю исправно, в данный момент нахожусь на излечении в травматологическом отделении горбольницы. Все это ему ничего не скажет. А что на мне пижама такая, я тут ни при чем, их такие на фабрике шьют. В больнице не до фасона, мерку с каждого снимать не станешь.

И тут меня осенила мысль. Я же знаю будущее. Скажу-ка я ему всю правду, отговорю от дальнейшего похода. Сколько людей будет спасено! История изменит свой ход.

— Батый,— начал я. В глазах кагана появилось недоумение, однако мне сейчас было не до этого, я стал мерзнуть и заговорил торопливо: — Я должен предостеречь тебя, ты затеял опасное и бесперспективное предприятие. Покорить Русь — неслыханное дело! Это никому не удалось и не удастся. Одумайся, отведи войска назад, ты сохранишь сотни тысяч монгольских и русских жизней, нынешних и будущих. Ты ослеплен первыми успехами, и я знаю, они будут довольно продолжительное время, но через 143 года войска хана Магая будут наголову разбиты Дмитрием Донским, а через 240 лет Золотая орда перестанет существовать, и русские женщины все реже будут рожать узкоглазых детей. Напрасно ты мнишь...

— Всюду будут монголы. У всех русских будет смуглая кожа и черные волосы,— перебил меня, нахмурившись, Батый.

Я, улыбнувшись, отрицательно мотнул головой.

— Черными разве только от крови,— возразил я, но спохватился: не время вступать с ним в дебаты.

— Мы будем владеть вами тысячу лет,— важно заявил Батый.

«Боже мой, опять эти бредни о тысяче лет»,— подумал я и продолжал:

— Не такие, как ты, сломали о нас зубы. Гитлер похлеще тебя был, да ничего у него не вышло.

— Кто такой? — с презрением спросил Батый, и глаза его злобно сузились. Видно, надоело ему меня слушать.

— Не знаешь ты. Скажу только, один его бронетанковый батальон разогнал бы сейчас все твое войско по окрестным лесам и оврагам. И передохли бы вы все там, как шакалы.

Батый потемнел и махнул рукой. Не понравились ему мои угрозы.

Во мгновение ока я был поставлен с ног на голову. Была у монголов такая варварская казнь. Но неужели я буду молить о пощаде? И, вспом-

нив городской ров Рязани, забитый трупами воинов, а на улицах бесчисленные множества обгорелых, обезображенных детских и женских тел, я заорал:

— Одумайся, фашист! Пожалей хоть женщин и детей! Детей! Детишки-то, бедные, не виноваты. Своло...

Я услышал хруст, как будто лопнуло стекло, вдоль спины проскочила жгучая молния и вонзилась в затылок...

Когда, развязав ремни, меня бросили подышать у дороги и я проблесками угасавшего сознания улавливал крики команд и топот лошадей, я сгреб коченеющими пальцами наконечник стрелы с коротким обломком древка...

Я просыпаюсь. Светает. Все еще спят. Отворяется дверь, входит сестра с градусниками. Опять все сначала.

Кто-нибудь сочтет этот кошмар выдумкой, уж очень все складно, да и какие пистолеты при Батые. Думайте, что хотите, а мне приятно вообразать, что все было именно так, что не свалился я с лесов, пытаюсь удержать сорвавшегося товарища, и прокувыркался четыре этажа между стеной и лесами.

Но наконечник со мной, он лежит под подушкой. Я нашел его в детстве: купаясь, наколол ногу, и достал его из ила и песка. Наш край не был завоеван Ордой, но мы платили дань, и, кто знает, может быть, на этом месте напала из засады ватага вольных новгородских ушкуйников на обоз баскака, самодовольно возвращавшегося с богатым выходом, и истребила всех, не дала уйти ни одному хищнику. Сгинул обоз без следа.

Я не расстаюсь с наконечником. Я брал его, отправляясь в пионерлагерь, три года службы в армии он сопровождал меня, и сейчас я попросил мать принести его в больницу. Ворчала мать, ругалась даже — что ты, ребенок с железкой-то этой возиться, брось. А мне спокойней с ним, и, сжимая некогда боевую сталь, ощупывая иззубренное, изоржавевшее острие, я думаю, что это эстафетная палочка. И я должен крепко держать ее, не выронить, а когда не будет меня, ее понесут мои дети, внуки, все, кто будет после меня.

А Валька-крановщица ходит ко мне. Правда, редко. Недосут ей. Сдаст экзамены за десятый класс. Сговаривались заниматься вместе, помогать бы я ей стал. Да вот не вышло.

Может, встану еще, не сломался я. И жизнь не кончилась. Поборюсь, потерплю до конца. Хоть на что-нибудь да я годен.

ЧЕЛОВЕК-РЕКА

У каждого человека бывают свои причуды. Один готов полжизни отдать за модную книгу, другому хоть бы что час простоять в очередь за кружкой пива, третий без ума от людей, которые пинают надутый воздухом мяч, четвертого хлебом не корми, дай «козла» забить, пятый из тех же доминушек небоскребы воздвигает и, как известно из периодической печати, уже достиг колоссальных успехов, шестой... но есть ли надобность перечислять все, что одолевает людей в свободное от работы время. Только с уверенностью можно сказать: такой причуды, как у Степана Никифорова, не было ни у кого.

Степан каждую весну прыгал с Красного моста в реку. Нет, не с этого, железобетонного, а с прежнего деревянного, сквозного, как паутина. С быками. Меж быков в ледоход застревали льдины. Их на потеху и радость ученикам первой школы рвали саперы.

Итак, Степан приходил на мост, где-нибудь в сторонке, чтоб ему не помешали, снимал обувь и прыгал в одежде в воду. Все, затаив дыхание, смотрели, как Степан, фыркая, отбиваясь от небольших, шаливших с ним льдин, плещется в ледяной воде, в крошечке желтовато-грязного льда, в этой убийственной тесноте и давке матерых льдин, от ударов которых еле слышно постанывали крепкие быки. По берегу взад-вперед носились незванные радители с веревками и досками, местные сорви-головы забирались даже на быки и протягивали руки, предлагая спасение, а Степан на глазах у толпы, которая к тому времени накапливалась у перил, уходил под громоздившиеся льдины и пропадал надолго. Когда иные зрители начинали расходиться, полагая, что уже все кончено, и «скорая помощь», без толку проторчав на берегу, уезжала восвояси, Степан неожиданно появлялся где-нибудь между льдин.

Он самостоятельно добирался до берега, отыскивал свои стоптанные полуботинки, и, не обращая ни на кого внимания, истекая журчащими ручьями, обессиленный направлялся домой.

Невдалеке от моста, чтоб не привлекать лишнего внимания общест-венности, его поджидали милиционеры, чувствительно брали под руки, помещали в машину и везли, куда следует. Там к Степану из года в год применяли различные меры воздействия: увещевали, штрафовали, со-общали на место работы, раз даже посадили для острастки на пятнад-цать суток что ж это за манера сигать с моста, дай каждому волю, тут черт знает что начнется. Другой, пожалуй, и с телевышки махнет.

Ничто не помогало. Увещевания Степан выслушивал, штраф платил, на «сутках» вместе с другими нарушителями убирал мусор на улицах и по-прежнему, лишь только наступала весна, приходил на мост. Пробо-вали было его определить в секцию моржей, чтобы он принимал ледя-ную купель в организованном порядке, но Степан организовываться не желал, хотел остаться сам по себе и посещать секцию отказался наот-рез. Зимой ему купаться нисколько не хотелось, а закаляться он не соби-рался: несерьезно все это, дурачество. Уж если быть точным, Степан и купался-то один раз в году, весной. Потому что купание Степана было далеко не причудой. Степан, как бы выразиться, чтоб не смутить недо-верчивого читателя, был человек-река.

Когда в газонах и скверах еще неподвижно лежал снег и в выходные дни на реке появлялось много радостного, пестро одетого, бодрого на-рода на лыжах и санках, когда по ночам еще ударяли нешуточные моро-зы и насквозь промерзшие пруды коченели в молчаливой тоске, один Степан - один во всем городе - в промчавшемся порыве мартовского ветра чуял отдаленные содрогания воздуха от сотен и тысяч стремив-шихся сюда крыл. То неисчислимые стаи перелетных птиц снимались с зимних гнездовий на зеленых африканских берегах, в виноградных до-линах Франции, за суровыми холодными Пиренеями, на благодатных землях Междуречья и стремились на родину, чтоб любить здесь, вить гнезда и выводить птенцов.

Медленно, день за днем, теплый воздух, отесненный метелями и вьюгами к далекому незамерзающему морю, готовился в обратный по-ход, в ясные дни сутробы оплавливались на солнце, по чистому небу вели-чаво шли в наступление мощные белые крепости кучевых облаков, по тротуарам расплзалась слякоть, порошки зимних рам наполнялись во-дой, а Степана охватывало тревожное предчувствие грядущих перемен. Без причины болела голова, беспокойно билось сердце, шумело в вис-ках. Подолгу не мог он заснуть, а если и засыпал, ему снились волную-щие загадочные сны. Земли не стало. Куда ни глянь — вода, серебрис-

тыс, мерцающие поля воды, лишь мельком протемнеет над ними узкая полоска земли. Поля текут, переливаясь друг в друга, движущаяся вода молчаливо смотрит на него и что-то знает о нем. Что-то тайное и родное. Будто вода — это он, а он — это вода. Из прозрачных, синевато-слоистых глубин, извиваясь, быстро всплывает змеевидная рыба с кривыми длинными зубами и, улыбаясь и разевая пасть, кричит ему что-то радостное и страшное. Он замирает, плачет кислотатыми обильными слезами, и вот идет над этими водами, парит, как предугранный легкий туман. Отовсюду все громче и громче, нарастая, поднимаясь все выше, звучит и гремит, поглощает его, как волна, внятный ему торжественный хор.

Отдалившись от людей, одиноко бродил он по берегу или сидел у окна, распахнув форточку. В капли с крыш, в бесшумном испарении снега, в звоне оборвавшейся сосульки, в шорохе ручьев под снегом, в реве буйной весенней реки, в криках птиц и посвисте ветра, в поскрипывании старого дома и изменившемся звуке шагов людей за окном для него звучали целые симфонии. И то умаялся он, отливался в боязливую прозрачную каплю, висящую на кончике сосульки, и со страхом смотрел на странный, изменяющийся мир; вот соскользнул, сорвался и летит, округляясь в долгом полете, сейчас разобьется, расплющится, но уже он огромный, такой, что не видит и не понимает своего тела, а волосы его, как живые жадные корни, раскинулись в воздухе и сосут из него, тянут в себя клубящуюся в воздухе влагу, а вот уже не только волосы, но и весь он пророс тончайшими, щекочущими, волосяными корнями, и отовсюду вливается в него, распирает со сладкой болью набухающие мышцы буйная, непомерная сила.

Сон то был или явь? Ночью он шел по улице. Вокруг все звенело и дрожало от поступи надвигающейся, ликующей весны. И голые черные ветки тополей и сиреней, меж древесных волокон которых неумоимо взбирались живительные соки, и оттаивающая парная земля, готовая брызнуть первой травой, и сам воздух, проникнутый чудными запахами и звуками, — все было напоено свежей могучей влагой, а за домами тяжело вздыхала и ворочалась еще отягченная льдом река. Степан оказался на крыльце третьей школы, на котором, по моде пятидесятых годов, стояли два больших оштукатуренных шара. Он сорвал первый шар, взметнул над головой и обрушил на тротуар. Земля дрогнула. Асфальт просел на полметра. Шар превратился в груду щебня. Та же участь постигла и второй шар.

Наутро все строили догадки по поводу необъяснимого каприза природы — бессмысленного разрушения шаров. Позже, примерно через месяц, когда река уже спала, Степан пришел покаяться, что это он набе-зобразничал. Ему посоветовали пойти домой и проспаться: в каждом шаре было не меньше куба кладки.

И чем дальше и полнее развивалась весна, тем нелюдимее становил-ся Степан. И раньше не отличался он особой разговорчивостью, но те-перь вообще не разговаривал ни с кем. Сейчас он жил другой жизнью, той давней жизнью, когда был он свободен, как эта река и дождь, как град и снег, как роса и туман, и воспоминания об этой жизни все боль-ней волновали и тревожили его в смутных грезах и сновидениях.

Все трудней становилось ему. Голова разламывалась от боли, кровь кипела и стучала в висках. Мучительная темная тяжесть давила его. И вот по одному ему известному сигналу он знал: пора. Тогда он шел на мост и прыгал с него. В этот день вскрывалась река.

И, барахтаясь в воде, сосредоточенный и серьезный, Степан чувст-вовал, как освобождается от чего-то, как река изымает из него всю уже не нужную ему силу.

Однажды Степан исчез. Пропал. Объявили розыск, но его не нашли. Не было его и на мосту. Напрасно дежурили милиционеры, мечтавшие в этот раз перехватить его на подходах к мосту. В тот год случилось на-воднение. Страшное, какого не помнил никто.

ИВАН ИВАНОВИЧ — МЫСЛИТЕЛЬ НА ПЕНСИИ

1

С Иваном Ивановичем, героем этой, возможно, несколько странной бытовой новеллы однажды случилась большая неприятность - он умер. Хотя в однообразном течении его дней внешне ничего не изменилось. В той жизни он так же проснулся утром, сделал в одних трусах зарядку у открытой форточки, энергично протер свои крепкие бока и грудь смоченной в ледяной воде губкой, сытно позавтракал и бодрой рысцой заспешил на работу, где до обеда сноровисто гонял по металлическим пруткам костяные диски счет, занимаясь квартальным отчетом.

В обед он подкрепился в столовке тарелкой куриного супа и аппетитным бифштексом, а вечером знакомой дорогой побрел домой к сварливой, уже два года как на пенсии жене.

В новой жизни Иван Иванович по-прежнему с азартом посещал футбольные матчи, как мальчишка приветствуя истошным воплем каждый забитый мяч, и лихо, в два пальца освистывая не угодившего ему судью. В футбольные дни жена, еще не утратившая всех добрых чувств к нему, выдавала Ивану Ивановичу денег на две бутылки пива сверх нормы.

Не за горами была пенсия, впереди маячила спокойная, бесхлопотная старость. Но за два дня до прощального собрания, на котором сослуживцы должны были произносить прочувствованные речи, а затем вручить ему почетную грамоту и расписной электрический самовар, Иван Иванович умер опять.

В старой жизни никто не заметил его долгого отсутствия, не удивился и не обрадовался, что он вернулся к ним. Жена привычно пилила его за любую оплошность, бранила простофилей, пустым барабаном (хотя, в сущности, это была похвала) и, пользуясь его нынешним положением, свалила на его плечи всю домашнюю работу: заставляла мыть полы, посуду, чистить унитаз, ванну, посылала в магазин, прачечную, конфискуя потом до копейки всю сдачу.

На пенсии Иван Иванович еще теплее полюбил стадион, где собравшаяся болельщица почтительно величали его «дедом», с уважением выслушивая его глубоко продуманные (впрочем, никогда не сбывавшиеся) прогнозы.

Три года пенсионной жизни промелькнули незаметно, когда Иван Иванович снова скончался.

Это страшно потрясло его. Он уже давно тревожно подозревал, что жизнь заключает в себе какую-то тайну, но нащупать пути к ней не мог. Как вдруг жизненный туман поредел и что-то как бы блеснуло в нем.

Легко возбудимый, впечатлительный человек отозвался бы на этот еще весьма смутный проблеск стихотворением, подвигся бы на какой-нибудь необыкновенный поступок или, в крайнем случае, запил бы на неделю. Ивану Ивановичу этого было не дано. Воспитанный бухгалтерской службой в сдержанности, он не стал метаться из стороны в сторону, совершая необдуманные поступки и набивая абсолютно ему не нужные синяки и шишки. Подобно энтомологу, изучающему поведение редкой букашки, скрупулезно фиксирующему каждый ее шаг, ее повседневные крошечные привычки, и прилежно заносящему свои наблюдения в юлевоу журнал, так и Иван Иванович с не меньшей пристальной вдумчивостью стал наблюдать за людьми: вслушиваться в их разговоры, сопоставляя слова с делами, следить за их мимикой, примечать, как ведут они себя друг с другом, с детьми, животными, растениями.

В качестве объекта изучения люди оказались удивительными созданиями: суетливыми, падкими на обман и лесть, верящими самым нелепым слухам и обещаниям, и ни в грош не ставящими слово правды, жадными и щедрыми, хитрыми и простодушными, орущими на родную мать и умильно лепечущими над блохастым, бродячим щенком, заботливо лелеющими хилый уродливый саженец и походя срубаящими топором юную гибкую березку. Необъяснимая на первый взгляд двойственность была главной людскоу особенностью. Человек обещал прийти на встречу и не приходил, уверял тебя в своей искренности, а вскоре случайно узнавалось, что он бессовестно лицемерил. Люди изменялись, как плывущее по небу облако. Перемены бывали столь разительны, что человека, встреченного утром, нельзя было узнать днем.

Это двоедушие людей не было, разумеется, новостью для повидавшего кое-что на своем веку Ивана Ивановича. Однако лишь теперь, систематизируя свои наблюдения, умно обобщая их, сближая вроде бы да-

леко отстоящие, а на деле родственные поступки, он начал проникать в суть явления.

Оказывалось, что человек в продолжение жизни неоднократно умирал, но обе жизни (подлинная и мнимая) были настолько схожи, что люди не замечали случившегося. Живые люди жили, а мертвецы перемещались среди них как заведенные куклы. Лишь посвященный в тайну мог отличить действительного человека от ходящего и говорящего трупа. Если мертвец не успевал отвести взгляд, замаскировать его притворной улыбкой или укрыть за гримасой пошлого смеха, мерцающая тусклость холодного взгляда выдавала его.

Содрогнувшись от своего открытия, Иван Иванович потерянно ходил по улицам родного города; нахохлившись, уединенно сидел на трибуне стадиона.

Он страстно желал убедить себя, что заблуждается, сочиняет что-то уж очень несусветное, но скоро получил ошеломляющие доказательства своей правоты.

Любя пиво, Иван Иванович покупал его только в магазине, презирая пивные за их грязь, сутолоку и хамство.

И надо же было тому случиться, что в окрестные магазины четвертый день кряду не завезли пиво. Что стряслось на пивзаводе с линией розлива, никто не знал. Не прояснили ситуацию и настойчивые звонки Ивана Ивановича на завод.

Делать было нечего — охота пуще неволи. Покряхтев, почесав в затылке, Иван Иванович стал снаряжаться в вынужденный поход. Долго охорашивался перед зеркалом, передевал одну рубашку за другой, подбирая к ним галстуки, начальственно хмурил брови, напуская на себя неприступно-строгий вид.

— Часом, не к зазнобушке собираешься? — уколола жена.

Иван Иванович не удостоил ее ответом.

В сколоченной на скорую руку из фанерных щитов, прокуренной пивной лениво колыхалась, перетекая от разливного окошка к высоким железно-трубчатым столикам, тусклоликая в сизом табачном дыму человеческая масса. Тяжело пахло сыростью, потом, подгорелой рыбой и чем-то таким гадким, что противно было думать о нем. Затиснутый в середину очереди, Иван Иванович смиренно ждал, пока поток потных тел пододвинет его к окошку, за которым в четыре руки расторопно орудовали две буфетчицы. Пьяные, мордатые мужики с наколками на руках нагло совали мимо него в окошко кружки, литровые банки. Кипя него-

дованием, Иван Иванович благоразумно помалкивал. Кем был он тут, в этом волнуемом пивными страстями людском море? Утлой щепкой, которую оно закрутит и вышвырнет вон.

Оконце уже рядом, еще каких-нибудь четверть часа и,— конец мучениям. А за ближним столиком вспыхнула драка. Дрались, как непроизвольно, но безошибочно определил Иван Иванович, живой и мертвяк. Живой был и выше и сильнее, да ведь мертвого бить, что деревяшк, он только кричал от ударов. Ноги Ивана Ивановича, не выносившего таких зрелищ, затряслись, он зажмурился. А пивная внезапно ахнула единым вздохом, словно порыв ветра промчался по ней. Иван Иванович разлепил веки, в глазах у него потемнело: из шеи живого человека била, брызжа на людей, струя крови.

Загремели опрокинутые столики, взвились рваные крики:

— «Скорую», «скорую» вызывайте.

— Остановите же кровь!

— Жилу ему пережмите!

— Эк хлещет. Пазгаст, как из крана.

— Поможет ему «скорая», тут моргом пахнет.

Обморочно натываясь на столики и людей, потеряв приготовленные в руке деньги и двухлитровый голубенький бидончик с уже снятой крышкой, Иван Иванович выдрался из жуткой пивнухи на волю. Рванув наобум через дорогу, он едва не залез под колеса громоздкого, рычащего, как зверь, КраЗа, чудом увернулся от «Волги».

С выпученными остекленевшими глазами Иван Иванович мчался, не разбирая пути.

Этот безрассудный бег в никуда закончился быстро. Проезжавшие по улице в специальной машине охотники за людьми уже заметили свою жертву.

Иван Иванович едва не влетел на перекресток, чтобы там под надсадно-яростные скрежеты тормозов и остервенелую шоферскую ругань вторично за малый отрезок времени испытать свою судьбу, когда его схватили цепкие руки. Он растерянно закрутил головой и помертвел: две пары нацеленных на него милицейских глаз лучились нелюдимым тусклым мерцанием.

— Я не пьян,— по-заячьи взвизгнул Иван Иванович.

Безмолвно, как в дурном сне, его повели к машине. На попытку что-то объяснить ему заломили руки. Заныв от пронзительной боли, Иван Иванович на цыпочках засеменял к железному фургону с мутными

стеклами, бока которого будто в насмешку украшали милосердные красные кресты.

Здесь томились изловленные люди. Одни убито молчали, другие плакали или ругались. Какой-то пьянчужка валялся на заплеванном склизком полу, а у соседа Ивана Ивановича, то и дело прислонявшегося к нему, изо рта свисала до самого пола тягучая нитка слюны.

Трясаясь на узкой, липкой скамье, страдая от скверного запаха и матерных окриков сержанта с дубинкой, попавший из огня да в полымя, Иван Иванович тоскливо размышлял, что творится с ним сегодня: обстоятельства тому виной, что из них вылепился такой отвратительный день, или это наказание за то, что жизнь приоткрыла ему сокровенную тайну, а он дерзнул усомниться в ней?

Во дворе здания милиции им приказали выходить. Спавшего выдернули за шиворот и поволокли в вытрезвитель, где толстая, с розовато-сытым румянцем во всю щеку женщина-врач сортировала доставленных.

— Этого-то на что привезли? — маленькими глазками колюче обшарив Ивана Ивановича, свирепо буркнула она. — Он же трезвый.

— И правда, — отозвался один милиционер, приглядевшись к нему.

— Ведь я говорил, — с надеждой, что сейчас справедливость восторжествует, воскликнул Иван Иванович. — А вы...

— Не выступать! — прервал его милиционер, больно ухватив за локоть, повернул к выходу. — Видишь дверь? Закрой ее с той стороны.

В сумерках, когда из-за деревьев на небосвод выплыла желтая, теплая, словно масляная луна, а в садике у больших прудов засвистал, задрожил, рассыпаясь трелью соловей и там послышался приглушенный молодой смех, когда природа этим вечером как бы хотела сказать, что она по-прежнему полна ласки и любви, измученный, опустошенный, с растоптанной, поруганной душой Иван Иванович отпер дверь своей квартиры.

— Иван, ты где болтаешься? Я места себе... — говорила, спеша из кухни в прихожую жена, вошла и всплеснула руками. — Ой-й-й-й! Ваня, это ты? Ты где был-то? На старости лет в разгул ударился? Достойное занятие, нечего сказать, себе выбрал.

Иван Иванович в измятой, грязной, мерзко пахнущей одежде, с всклокоченными волосами столбом стоял посреди прихожей, шумно сопя носом. Пересказать происходившее с ним сегодня, пережить все это заново было свыше его сил. Сейчас он жаждал одного — забвения и покоя.

— Так и будешь со мной в молчанку играть? — медленно обходя его, голосом тетки из выгрезвителя говорила жена. — Я кого спрашиваю? — голос ее зазвенел. — Новый пиджак, брюки, по каким свалкам тебя лучший носил? Солидный мужчина, на пенсии, — она закричала, — до чего ты достукался. Шляпа! Шляпа-то где? Давно ли куплена, году не ношена, куда шляпу-то ты ухайдакал, пропойца несчастный...

— А-а-а! — бешено взревел Иван Иванович, подняв над головой кулаки, и трактором двинулся на струхнувшую жену.

Она, впервые увидевшая его таким, оцепенела от страха, попятилась, но некуда ей было деться в их низенькой однокомнатной хрущобке. А Иван Иванович, остановившись перед женой, опамятовался. Ударить жену? Чем же он тогда будет лучше тех, кто топтал его в грязь сегодня?

2

Бессонная ночь ожидала Ивана Ивановича. Маски-лица милиционеров, повозка с крестами, жалкие люди в ней, гомон пивной, вид свистящей струи крови, врач со свинными глазками, вопящая на него седая, сморщенная старуха — вертелись в мозгу нескончаемо-бредовым колесом. Значит, любого человека можно вот так запросто цапнуть с улицы, мытарить в душной, вонючей машине, затем вытолкать в шею, даже не извинившись. И это — права человека, свобода слова? А люди в пивной! Ну как можно бить человека, которому больно, кулаком по лицу, по губам, по глазам, да еще и ножом. А жена! Не разобравшись, не вникнув, не посочувствовав — сразу орать! Как, зачем жить в этом ненормальном, исковерканном мире? Неужели и завтра опять видеть фальшивые улыбки мертвецов, наткаться, как на иглы-сосульки, на их остывшие взоры, слушать лживые речи, терпеть грубость, бессердечие, жестокость?

Нет! Нет, нет! Уж лучше покончить с собой. Ничего больше не видеть, не слышать, не знать!

Осерчавшая на него из-за вечерней стычки жена рано утром ушла из дома. Треснула дверью, не промолвив слова.

Иван Иванович, вскочив с постели, стал скорее искать веревку. Перерыл всю квартиру и ничего не нашел. Пододеяльники, простыни, рубахи, полотенца сдавались в прачечную, а для носовых платков, носков, салфеток под цветочные горшки и прочей постирашечной мелочи была натянута вдоль балкона бечевка, которую Иван Иванович без труда порвал руками.

Неужто придется бежать в магазин? Но не вешаться же, в конце концов, на шнурах от ботинок?

Глубоко в серванте, за стопой нижнего белья, Иван Иванович обнаружил неизвестно для каких целей припрятанный женой моток прочного бельевого шнура с капроновой нитью.

В смятении побродив с мотком по комнате, Иван Иванович вышел на балкон. По улице проезжали машины, шли люди, во дворе на качелях качались дети, резвились у песочницы, а за столиком под сенью лип знакомые старики предавались глупейшей игре в домино. Легкий ветерок шевелил ветви деревьев, по листьям скользили кружевным узором золотистые, солнечные пятна.

Нет, зачем обманывать себя этой видимостью жизни. Разумней обрвать все разом!

Отрезав часть шнура, Иван Иванович привязал один его конец к колену канализационного стояка, забрался на унитаз и, мысленно просив прощения у жены, надел на шею петлю.

В последний раз озирая тот мир, который он покидал, Иван Иванович повел взглядом по стенам, изумившись, что левая стена, словно омытая влагой, блестит, отливает ртутно-водянистой гладью. Узкая клетушка уборной отразилась в этом чудном зеркале пространством залом из черных, холодно-матовых мраморных плит. Там он увидел и себя, босого, стоящего с веревкой на шее. Из дымчатой отдаленности удивительного помещения к зеркальному Иван Иванычу деловито, как рабочие на смену, шагали три загадочных веселых существа. Тощие, с продолговатыми козьими рожицами, с острыми завитушками рожек над лбами, одетые плотно-курчавой, коричневой, словно плюшевой, шерстью, они несли на плечах железные скребки и крючья, какими обычно бывают вооружены кочегары в котельных. Тотчас с поднизу приволокло горько-удушливого, угарного запаха. Хлебнув глоток этого жаркого, шаркнувшего теркой в горле чада, Иван Иванович поперхнулся, надрывно закашлявшись. Одна нога его соскочила с покатога края унитаза.

Балансируя на одной ноге, как канатоходец над бездной, Иван Иванович отчаянно боролся за стремительно выскальзывавшую из-под ног жизнь. В этот шаткий миг страшная мысль всплеском молнии сверкнула в голове: что если в той жизни он будет вечно висеть в петле у унитаза, а эти смешливые чертенята вечно будут дергать, рвать, кромсать его своими инструментами?

Дрыгнув ногой, Иван Иванович уцепился ею за край своего предсмертного постамента, как обезьяна за ветку. Обретя опору, он раздернул петлю, уж было намертво впившуюся в шею, кинул ее за голову и с размаху грянулся об пол.

Тут и нашла его жена.

— Ванечка! — увидев болтавшуюся веревку с петлей, упала она на него с криком. — Миленький мой, зачем ты хотел сделать это? Неужели тебе так плохо со мной? Прости меня, что я постарела, у меня болит голова и я часто сержусь на тебя. Ванюша, Ванечка, как же я без тебя стану жить...

Услышь Иван Иванович эти причитания, он бы, наверно, заплакал. А он лишь мычал, как оглушенный на бойне бык, когда жена, капая слезами на его лицо, тащила грузное тело мужа в комнату, заворачивала там его на диван. Тяжесть была невероятная. Елизавета Евгеньевна даже подумала: не позвать ли на помощь соседей? Но что она скажет им о багровом рубце, окольцовывавшем шею мужа?

Целую неделю Елизавета Евгеньевна не разрешала Ивану Ивановичу вставать с кровати. Водилась с ним, как с ребенком, кормила с ложечки, поила чаем, покупала яблоки и виноград, шоколадные конфеты, лакомила его мороженым с вишневым ликером, до чего Иван Иванович был большущий любитель, но в былые дни по скарденности супруги не смел даже заикнуться об этом. Ночью она вставала к нему, поправить сползшее на пол одеяло, целовала в лоб жалеющим материнским поцелуем, подолгу смотрела на него, ужасаясь в догадках и не отваживаясь спросить днем, что же толкнуло мужа на такой шаг?

3

Так Иван Иванович остался жить.

Но для чего? Зачем вообще люди живут?

Этот, рано или поздно встающий перед каждым человеком вопрос, посетил Ивана Ивановича в возрасте весьма и весьма почтенном. Доселе он не задумывался над ним. А когда задумался, то первый, скороспелый ответ, как и у большинства людей, был по школьному прост: люди живут для того, чтобы жить. Многие люди, видимо, опасаясь дать простор мысли, преспокойно довольствовались этим выводом, хотя жить ради жизни можно было только в том случае, если б она состояла из одной радости и ничем не омрачаемого счастья. А для скольких людей, которых с младенчества преследовали неизлечимые болезни, она была

непрерывной мукой и страданием. Но если допустить, что люди живут все же ради жизни, тогда зачем они умирают? Не значит ли, что люди живут для смерти? Тогда почему же они боятся ее? Желая продлить жизнь, люди заботились о своем здоровье, лечились у врачей либо прибегали к услугам колдунов и экстрасенсов, питались по диете, соблюдали режим... И все-таки умирали.

Яркой иллюстрацией жизни ради жизни, для бесконечного продления череды рождений — была жизнь природы, животных, растений. Но человек стоял выше этой биологической цепи. Животные не помнили своих предков, у них не было истории.

Быть может, люди живут для того, чтобы оставить свой след на земле? Умирая, они продолжают жить в своих делах, сохраняется память о них.

В ближайшую субботу Иван Иванович отмечал свой день рождения. Уже много лет он справлял этот праздник в узком семейном кругу, то есть вдвоем с женой. Одни его друзья скончались, другие, нерасчетливо употребляя спиртное, приобрели хронические недуги и пили только соки да кефир, а третьи затерялись на неровной жизненной дороге.

Купив по случаю праздника дюжину бутылок пива и остудив его в холодильнике, Иван Иванович пообедал с женой, чмокнул ее в морщинистую щеку и, расположившись на балконе в кресле, потягивал из красивого хрустального бокала пиво.

Его ослепила длинная и резкая, как вспышка электросварки, искра. Иван Иванович моргнул, протер глаза, с беспокойством созерцая, как воздух, этот безвидный океан, в котором беспрепятственно реяли и парили птицы, огустевал в исполинский — от крутизны небосвода до плоскости земли — кристалл. В чисто-прозрачном теле кристалла шевельнулись очертания каких-то бледных теней и вдруг отлились в безмерные, уходящие к дальней кромке горизонта людские шеренги.

Шеренги дрогнули и — пошли.

Тут были степенные, в благородных сединах старцы, рядом с которыми влеклись иссохшие, перестрадавшие за свою жизнь не одну человеческую судьбу старухи. Меж них вились шаловливые дети, едва пригубившие волшебного напитка жизни и уже покинувшие убранный яствами стол. Шли задорные отроки, жаждущие познать весь мир, легко выступали мечтатели-юноши, гордо шествовали величавые матроны. Шагали скромные, трудолюбивые земледельцы и важные государственные мужи, храбрые воины и думовитые философы, смиренные

нищие и переменчивые актеры, неутомимые мастеровые и вдохновенные поэты, мрачные чародеи и взбалмошные, порочные красотки...

Перед Иваном Ивановичем текли неисчислимые сонмы некогда живших на земле людей. С балкона, как с потаенного наблюдательного пункта, он наглядно видел, как вырастает в человеческой жизни одно поколение в другое, как стариков сменяют деятельные, полные сил мужчины, а им на смену уже поспевают пылкая молодежь. Печать молчания лежала на устах шагавших. Неприютная для земного человека тишина царила на этом полуденном смотре. И поверх колеблющейся равнины людских голов изредка, то над благообразным челом старика, то над косичками печальной девочки, то над светлой головкой ребенка единично вздымались огненные язычки. Этим людям суждено было оставить свой след на земле.

— Боже, как мало! — прошептал Иван Иванович.

Имена людей, оставивших по себе память, при желании можно уместить в одну большую книгу, но никакие книги не вместят имена всех людей, когда-либо увидевших солнце. Известно, кто спроектировал прекрасное старинное здание, кто рассчитал и построил мост через реку, кто написал книгу или сложил песню. А те, кто каждый год засекает поля, кто водит машины и поезда, лечит больных, воспитывает детей, защищает страну? От них не остается явного следа, но разве эти люди не жили? Да сам он, Иван Иванович, что совершил такого, что переживет его хотя бы на десятилетие? Бухгалтерские отчеты берегутся какое-то число лет, затем списываются в макулатуру, машина на фабрике истолчет их в бумажную кашу, и разве не окажется, что вся его жизнь — такая каша? Но это же неправда!

И в то же время от человека порой ничего не зависело, пожелай он оставить по себе след. Иной деятель всю жизнь искал славы, добивался ее, работал не покладая рук, хитрил, изворачивался, предавал друзей, бросал жену, шел на все мыслимые подлости и ухищрения, и умирал во цвете лет от рака желудка, ничего не добившись, не понятый, не признанный и тут же забытый. Другой, напротив, вел праведную, достойную жизнь, но и его постигала та же участь, жизнь его высыпалась в отвал как пустая порода. И был третий — прирожденный удачник, которого слава стерегла уже у его колыбели. Единственным трудом для него было родиться. Он рождался и шел по жизни как радостный белокурый гений, осиянный светом славы, охотно делящийся ею с каждым встречным-поперечным. Он возвещал людям музыку бытия, он сам был части-

цей этой музыки. Он умирал, и человечество еще долго помнило о нем, как о существе высшей, неземной породы. А ведь был он таким же человеком, как и все.

С крахом теории своего следа на земле рушились все родственные ей теории. Теория жизни для собственных детей, для государства, для будущих поколений. Последняя вообще низводила человека до уровня навоза на всемирном огороде истории. Фальшь ее заключалась в том, что постоянного улучшения жизни не было, не раз в ней случались такие повороты, когда потомки жили хуже, подлей своих предков, когда, поддавшись обману, люди предавали завоеванную в боях славу, а нажитое трудами нескольких поколений богатство спускали за бесценок в погоне за наслаждениями. Невинные девушки, отвергая долг материнства, мечтали о карьере знаменитой проститутки, а молодые парни, соблазненные возможностью легкой поживы, стремились в воры и разбойники. Матери продавали своих детей ради призрака привольной жизни, а отцы, махнув на все рукой, пускались в безудержное пьянство...

Одним из частных случаев теории следа на земле была теория бессмертия человечества. Умирали люди и государства, но жило человечество. Однако какая была утеха ему, конкретному человеку с его единственной, неповторимой жизнью в этом коллективном, стадном бессмертии? Точно так же ведь были бессмертны собаки и кошки, лопухи и крапива.

Чем глубже осмысливал Иван Иванович вставшую перед ним проблему, тем очевидней становилось, что тропинка мысли ведет его в тупик. Последовательно-логическая теория смысла жизни не выстраивалась. Как ни крути, получалось, что жизнь бессмысленна.

4

Заболевшую от непосильных дум старую голову Ивана Ивановича осенила счастливая идея. Разве не думали другие люди о тех вопросах, которые одолевают его? Конечно, думали, и умнейшие люди — философы, мудрецы. Так не проще ли обратиться за ответом к книгам?

В юности Иван Иванович много читал. Круг интересов его простирался от художественной классики до фантастики и детективов. Суэта семейной жизни оставляла мало времени для чтения. По правде сказать, илень-матушка была тому причиной, что со временем он променял книги на стадион и вечерний телевизор с привычным бокалом пивка.

Не без трепета и смущенного волнения переступил он снова порога библиотеки.

Молодая женщина, ведавшая записью в храм знаний, не выказав удивления по поводу возраста престарелого читателя (чего Иван Иванович робко побаивался), равнодушно переписала его паспортные сведения и, не подняв головы, ткнула ему читательским билетом куда-то в живот. Иван Иванович, смекнув в чем дело, поскорее убрался из комнаты.

Вначале предстояло решить задачу: с чего начать? Та философия, которую ему вдалбливали в школе, на политзанятиях в армии и на высших бухгалтерских курсах не удовлетворяла его. Она была примитивно прямолинейна. Новое отрицает старое, количество переходит в качество, бытие определяет сознание, партия — наш рулевой, и вперед к победе коммунизма! О чем тут думать, чем мучиться, когда все порезано и разложено на одинаковые порции, как в солдатской столовой? А Иван Иванович при своем малом домашнем стаже философствования дошел своим умом, что в жизни далеко не все так укладисто просто. Железные категории единственно верного, а потому и всеильного учения, срываются не всегда, и не все объясняют.

По совету дежурного библиографа он взялся сперва за учебники по философии и облегченные, популярные изложения буржуазных философских учений.

Язык этих книг оказался для него сродни китайской грамоте. Понадобилось срочно завести блокнот, заполнявшийся новыми словами: детерминизм, экзистенциальный, онтологический, телеологический, гносеологический, индукция и дедукция, ноумен и феномен, имманентный, трансцендентальный, метафизический, субстанция, энтелехия и другие. Не расставаясь со словариком, Иван Иванович зубрил научные термины утром за завтраком, в автобусе, в магазинных очередях, обедая в библиотечном буфете, перед сном и даже ночью проснувшись, как от тычка, включив торшер в изголовьи кровати, лихорадочно листал обтрепавшиеся, замусоленные страницы, отыскивая значение приснившегося слова. Но странно: когда в библиотеке он подставлял значения слов в текст, из них порой сплеталась такая несуразная абракадабра, что мозг наотрез отказывался воспринимать ее. Текст мутнел, расплывался перед глазами, и Иван Иванович засыпал над книгой, сочно похрапывая. Хотя бы студенточки прикосновением своих тонких пальчиков с улыбочкой будили его.

Невзирая на трудности, Иван Иванович героически штурмовал одну книгу за другой, приступив к освоению первоисточников. От заграничных имен Гегеля и Шопенгауэра, Сартра и Хайдеггера, Ясперса и Кьер-

кегора к сердцу подкатывала неодолимая тоска, а тут открыли шлюзы и вскипел вал своих, десятилетиями не издававшихся мыслителей: Бердяев и Розанов, Ильин и Карсавин, Лопатин и Флоренский. А еще нетронуты Сигер Брабантский, Фихте, Монтескье, Вольтер, Шеллинг... Господи, да сколько же их всех было!

Жена, напуганная диковатым блеском, появившимся в глазах мужа, его похудевшим, осунувшимся лицом, вздыхала:

— Ты бы, Ванечка, отдохнул. Не молодой так надсажаться. Чего тебе эти книжки дались? Выпей лучше пивка, да приляг, отдохни.

Иван Иванович и сам чувствовал, что переутомился, а остановиться не мог, упрямая воля была сильнее рассудка, и он, как шахтер-стахановец в забой, к десяти утра одним из первых исправно являлся в библиотеку.

Но когда на исходе одной ночи к нему, истерзанному сердечными и головными болями, заглянул на «огонек» поддулявший философ из Кенигсберга в обнимку с Еленой Блаватской, Иван Иванович с холодком понял: недалеко до беды, пора бить отбой. Видать, не для пенсионерских мозгов восхождение на высшуюся перед ним гору. Начинать карабкаться на эти кручи нужно было в юные годы. Не линовать простыни бухгалтерских отчетов, а штудировать тяжеловесные тома.

А кто бы кормил его тогда и содержал семью? И хотя бы он посвятил этому восхождению всю жизнь, кто гарантирует ему, что там, на вершине книжного знания, не обнаружится такой же изъян, как в теории следа жизни. Если окинуть взглядом сверху философские теории, то в каждой из них (даже во враждебных, противоречащих одна другой) можно было сыскать близкие, родственные черты; подспудно, дальними отзвуками мыслей теории перекликались друг с другом. Одна философская система порождала другую, отпочковывалась от нее, как побег от ветви.

Иван Иванович с сожалением провел последний вечер в читальном зале, попрощался с сотрудницами, привыкшими к чудаковатому старику, и навсегда покинул библиотеку.

С месяц он ходил грустный, вспоминая о тех счастливых днях, когда он жил заурядной жизнью рядового пенсионера, ни о чем особом не размышляя и ничего ни за кем не замечая. Для чего пробудилась в нем эта способность думать, обратившаяся в страсть? Насколько легче и проще жилось ему в привычном миреке укороченных, квартирных мыслей.

И все же умственная работа, волевые бдения над книгами принесли свой благой плод. Не отрекаясь от своего самого важного открытия, Иван Иванович перестал бояться людей и осуждать их. Добродушная, снисходительная терпимость появилась в нем. Как знать, может иные люди и не виноваты в своей мертвости?

5

Взамен старого, треснувшего в тот роковой день унитаза, Елизавета Евгеньевна после долгих поисков купила новый — импортный, приятного сиреневого цвета. Обливаясь потом, с пересадками с троллейбуса на автобус, а затем пешком Иван Иванович доставил его домой. Хмельной сантехник из ЖЭКа поставил унитаз на место, прикрепил болтами, обмазал раствором и, порядком насвинячив, ушел с заработанной поллитрой в кармане.

В уборной можно было навести порядок за десять минут, но Елизавета Евгеньевна, возбужденная и обрадованная обновкой, решила устроить генеральную уборку во всей квартире, а чтобы меланхоличный Иван Иванович не мешал ей и они не действовали друг другу на нервы, ласково убедила его съездить в лес за малиной, которая, как известно, лучшее лекарство при простуде. Его попутчиком или, вернее, наставником, она уговорила поехать своего двоюродного брата, завязтого грибника и ягодника.

Пригородный поезд, в будний день почти пустой, привез их на небольшую станцию. В полдень они вышли к малиннику.

Обжигаясь крапивой, отгоняя назойливо зудевших оводов и слепней, переключаясь редкими «Ау!» со свояком, Иван Иванович собирал красные, сладкие ягоды.

Когда-то, очень давно, в далеком детстве он с друзьями-мальчишками так же ходил по малину. Весь день они плутали по лесу, утомились, ягод набрали мало, угодили под холодный проливной дождь и уже ввечеру чуть живые от усталости, продрогшие, голодные брели домой. Как ни томил его голод, Ваня терпел, хоть по примеру товарищей и брал иногда из тарки одну малинку, дружую. У самого дома его пальцы коснулись дна. Всю дорогу он мечтал угостить родителей — инвалида отца и часто болевшую мать — не покупной, базарной, а им собранной, лесной малиной. Донес же до дома всего горсточку давленных, мятых ягодок. Мать упрекнула его, он заплакал, убежал в чуланку, где ночевал летом.

Иван Иванович стряхнул с ресниц слезу. Сейчас бы он уладил дорогих стариков целым ведром свежих, отборных ягод, но — увы, об этом можно было лишь горестно помечтать.

Согрев на костре чая, ягоды перекусили, залили огонь водой из ручья и пустились в обратный путь.

Луг переходил в крутой косогор. Под ногой проалело какое-то пятнышко. Иван Иванович нагнулся и обомлел: в зеленой, спутанной густоте стеблей трав, стелющихся листьев, в переплетении тонких былинки там и тут мелькали овально-крупные, как бусины, багровые ягоды земляники.

— Николай,— окликнул Иван Иванович свояка,— ты глянь, что тут есть!

Вернувшийся свояк прямо обезумел от такого изобилия. Упав на колени, он рвал землянику горстями, набивая ее в пакет вместе с листьями.

— Не жадничай,— посмеивался Иван Иванович,— хватит на всех.

— При чем тут «не жадничай»,— сварливо ворчал свояк.— На поезд опоздаем, еще идти сколько.

Набрав стеклянную литровую банку ягод и завинтив ее крышкой, Иван Иванович прилег в тени тонкой елочки. То-то Лиза обрадуется луговому гостинцу. Давно он не дарил ей подарков. Конечно, что-то покупал и вручал к 8-му марта, к дню рождения, но чтобы просто так, от души, от того, что она мила и близка ему, такого не бывало давно. Воспоминание о родителях шевельнуло какие-то струнки в душе и ему захотелось воздать долг добра, который он задолжал им. Ведь жена и по природе своей была сходна с матерью, а чем старше становились они, тем это сходство делалось ближе.

Солнце клонилось к закату. Воздух дрожал от стрекота кузнечиков. Аромат горячей еловой хвои навевал древние, невнятные воспоминания. Прикрыв глаза, Иван Иванович дышал этим смолистым запахом, как будто дышал своей жизнью.

В травяном ковре, устилавшем сверху донизу земляничный косогор, обозначилось темное отверстие, из которого, колеблясь, истекала размывчато-бледная полоса тумана. Откуда мог взяться туман в такую жару? Ах! Ну, конечно же, это были дети! Из пещеры посредине холма вереницей выходили дети, их светлые, льняные головки и создавали впечатлительное белеющего тумана.

Дети топали босыми ножками по траве, рассыпаясь беззаботным смехом, срывали на ходу землянику, совершали один виток вокруг хол-

ма, другой, третий... Где-то там поток раздвоился. Одна часть его тонкой ленточкой продолжала куриться к сливавшейся с небом вершине, которую венчала странная лесенка, напоминавшая трехдольный церковный крест. Другая часть потока катилась по широкому подножью холма вниз, пропадая в глубоком, темном овраге...

Значит, те периодические умирания вовсе не были прихотливой выдумкой его ума. Из них, как из маленьких смертей, закручивался ком вечной смерти. Но тогда, несомненно...

— Подъем! — дурчась, гаркнул ему прямо в ухо свояк.

Иван Иванович, затрепетав (так испугали его звуки человеческого голоса), пробудился и какое-то время не мог понять, где он, как очутился здесь и почему лежит на траве.

— Вставай, Ванек, вставай, — дружелюбно тормозил его Николай. — Дома спать будешь.

На пути до станции Николай, человек нрава шумливого, компанейского, неотвязно вызывал Иван Ивановича на разговор. Тот отмалчивался, сославшись на усталость.

— В другой раз поезжай один, — рассердился Николай.

А Иван Иванович был занят важным делом: прокручивал назад ленту жизни в поисках того момента, когда жизнь разделилась, и он вместо восхождения на вершину потек в подземную трещину.

На последних тридцати годах можно было не задерживаться, разделение произошло не здесь, но воспоминания, не спрашивая, приходили сами. Однажды он умер после того, как нашел оброненный кем-то кошелек. Там были паспорт, пропуск в учреждение и — много денег. Он возвращался с вечеринки веселенький, в блаженном подпитии и подумал еще: во, повезло! Прошли годы, деньги давно истратились и сейчас было невыразимо стыдно, за какую грошовую сумму он согласился умереть, правда, сам тогда не зная об этом.

Поезд на станции, куда они прибежали запыхавшиеся, готовился отправляться. Высунувшийся из кабины машинист дал длинный гудок. Зажегся зеленый глаз выходного семафора.

Проводница не пускала их в вагон.

— Без билетов — и не мечтайте.

— Мы у вас билеты купим, — хором предложили Иван Иванович и Николай.

— Еще чего. Касса на это есть.

— Не успеем мы в кассу, поезд уйдет.

— Это ваши проблемы. Ничего не знаю,— тупо поглядывая вбок из-под форменного берета, долдонила проводница.

— Какого ж дьявола ты тут отсвечиваешь, коль ничего не знаешь,— взъярился свояк.

Иван Иванович не дал ему расшуметься, без труда сообразив, с кем они имеют дело.

— Держи! — он подал Николаю рюкзак и припустил через рельсы.

Колеса состава, стально скрипнув, совершили первый трудный оборот, другой, прибавляя, завернули на третий, когда Иван Иванович выскочил на перрон с билетами над головой.

— Купил! Купил!

6

С таблеткой валидола под языком, навалившись затылком на подголовник вагонного кресла, Иван Иванович углубился в воспоминания.

В зрелые годы он умер в день приема в партию. Секретарь парторганизации спросил, зачем вступает в ряды КПСС? Он соврал: «Чтобы строить коммунизм» (а взаправду, чтоб получить место главбуха, которое ему так и не досталось).

Секретарь знал, что он врёт, и Иван Иванович знал, что секретарь это знает. Но один обязан был об этом спросить, а другой был обязан именно так ответить.

Чем скорей молодели воспоминания, тем длиннее были промежутки между умираниями. В армии, к примеру, он умер только раз. Их, мешковато обмундированных, робких парней привезли с вокзала в казарму, построили в одну шеренгу. Когда старшина зычно рявкнул: «Ровняйся! Мыр-р-рно!» и, грохнув каблучищами сапог, повернулся для доклада к ротному командиру, в этот миг Иван Иванович умер. Потом привык, втянулся, солдатская жизнь побежала своим характерным ходом и к концу службы даже полюбилась ему.

Воспоминания подгоняли друг друга. Вспомнив первое счастливое время после женитьбы и сравнивая его с годами семейной маеты — значками от жены, привычным унылым враньем, глухой многолетней отчужденностью, Иван Иванович увидел, что нельзя все сваливать на сварливый, скопидомный характер жены. Они были поровну виноваты друг перед другом. Вдохновенная, молодая любовь выродилась в обряд совместного питания, обязательных супружеских встреч, как

вырождается и хиреет, задушенный сорняками, когда-то ароматный и прекрасный цветок. Любовь не умерла, она была жива, только нужно было вернуть ее.

Годы юности бежали бурным, весенним ручьем. Умерев на партсобрании, Иван Иванович ожидал, что по аналогии умрет в день приема в комсомол и пионеры. Этого не произошло. По прошествии полувека те дни, конечно, не вызвали в душе прежнего восторга, но и умирать из-за них не было никакой причины.

За десять лет учебы в школе он умер дважды. Когда тишком разрезал бритвой куртку одному мальчишке, который обижал его, а подраться с ним, дать ему сдачи у Вани не хватало смелости. И еще он поставил из озорства подножку совсем незнакомой девочке, бежавшей по коридору. Она упала и сломала себе руку. Иван Иванович с болью вспомнил ее жалобный крик и слезы.

Еще одна оказия случилась с ним в детском саду. Затем потянулась светлая полоса неумирания. Казалось, она была длиннее всей последовавшей за нею жизни.

7

Приехав в город, Иван Иванович попрощался с попугачиком, поблагодарил его за поездку и направился домой.

Со временем привыкнув наблюдать не только за людьми, но и за собой, Иван Иванович на кратком пути до дома (а жил он в десяти минутах хода от вокзала) заметил, что в радости от впечатлений нынешнего удивительного дня чего-то не достает, не хватает, чтобы радость была полной. Если б Иван Иванович умел петь, он бы сравнил свое ощущение с недопетой песней, когда певцу, уж было собравшемуся излить в нежнейших нотах свою душу, приходится вопреки желанию замолчать. Иван Иванович однако дара пения был лишен и смутное чувство недовольства исподволь отравляло душу.

Лишь оказавшись во дворе своего дома под сенью цветущих лип, вдохнув их веющего, желтовато-мягкого аромата, в памяти Ивана Ивановича вдруг воскрес знойный, звенящий жизнью луг. Мысль, рассеченная грубым вскриком свояка, ожила, сливаясь в единое целое, отстраняя смуту и недовольство.

Да, мировой закон неразделимых единств нарушить было нельзя: тьму сменял свет, отчаянию противостояла надежда, и коль скоро из малых смертей — умираний создавалась большая смерть, то, побеждав-

шая небытие, вечная жизнь очевидно выростала из крупинки новых рождений. А каждое такое рождение немыслимо было без детского чувства в душе. Недаром же сказано: будьте на злое как дети.

Снова его ожидала серьезная работа — еще раз перебрать год за годом всю жизнь. Конечно, укоры совести горше похвал и резче отпечатываются на сердце, но ведь не может того быть, чтобы он всегда только умирал. Неужели ни разу он не рождался вновь и не числится за ним ни одного доброго дела?

Вот знакомый подъезд. Дверь на пятом этаже, обитая гвоздиками с фигурными шляпками. Трель звонка и близкий голос жены:

— Кто там?

— Юный натуралист, — ответил Иван Иванович. Услышав засмеявшуюся в прихожей Елизавету Евгеньевну, он скорее развязывал рюкзак, вынимая из него банку с земляникой. — Смотри, радость моя, что я привез тебе.

ЦАРИЦЫНА ВНУЧКА

(Святочный рассказ)

Пятилетняя Катюша, говорливая непоседа, залезла к дедушке на колени. Старец, поминутно задремывая, отдыхал в кресле после обеда.

— Дедушка, а, дедушка, — тормошила его внучка.

— Ну что, егоза?

— Дедушка, а почему тебя так смешно зовут?

— Как же смешно? Обыкновенно — Иваном.

— Да нет, а что зовут тебя пра-пра-дедушка. Ты, что ли, правильный, правильный дедушка, а чтоб не было длинно и говорят: пра-пра?

Дед усмехнулся, поглаживая седую, с ветхой желтизной по краям бороду.

— На все-то, вострушка, у тебя вопросы есть.

— Дедушка, а почему у тебя борода такая длинная, потому что ты живешь долго? А когда ты, дедушка, умрешь?

В комнату на эти слова заглянула мама.

— Катя! Что ты глупости опять какие спрашиваешь! Пусть дедушка живет дольше. Перестань.

Дед Иван, которому эти вопросы были не в новинку, дотронулся ладонью до внучкиной головки — с зачесанными светлыми волосами и косичкой с голубым бантом.

— Пусть, пусть живет, — крикнула Катя, и когда мама опять ушла на кухню, встала на кресле, обняла деда за шею, горячо зашептала ему в ухо. — Деда, честно, ты же сам вчера говорил, что пора тебе умереть, да Бог смерти не дает. А кому ты крестики, что в сундучке твоём лежат, оставишь, мне или Пете?

— Зачем же девочкам Георгиевские кресты? Конечно, Пете.

Катя, нахмурившись, быстро слезла с кресла, подошла к куклам.

— Все только вашему Петечке,— дрожащими губками, с обидой говорила она.— А я так плохая? Он все время с ребятами гуляет, а я с тобой разговариваю. Сам недавно говорил, что со мной тебе весело.

— Конечно, весело,— отозвался дедушка.— Пропал бы я без тебя. Ноги-то меня уж совсем не носят, ты моя первая помощница.

— А если первая, так и дай мне один крестик. В телевизоре показывали, как Кутузов Шурочке Азаровой крестик прицепил. Ей так можно?

— Не сердись,— вздохнул Иван Алексеевич.— Все вам оставлю, ничего с собой на тот свет не унесу. Только помните обо мне.

— Будем, будем помнить,— повеселевшая Катюша снова вскарабкалась деду на колени, который морщился от боли, когда бойкие ножонки внучки переступали по его старым, костлявым немощным ногам, но терпел.

— Деда,— попросила Катя,— расскажи, как ты Царицу видел.

— Я ж рассказывал тебе не раз.

— Еще расскажи. Жалко тебе, что ли?

Дед рассмеялся.

— Чего не выдумаешь — жалко. Да сколько же можно?

— Ну, дедушка Ванечка. Я тебя всегда, всегда буду слушаться.

— Как же будешь слушаться, коли молитвы не учишь.

— А вот и учу.

— Правда?

— Правда!

Внучка сделала важное лицо.

— Нет, нет; ты под иконы иди. Не стишок, чай, молитва.

Катя стала перед иконами в красном углу, одернула платице, тщательно сложила пальчики для крестного знамения, посмотрела на них, оглянулась на дедушку. Тот кивнул ей.

— Богородице Дево, радуйся,— звонким, счастливым голоском завела Катя,— Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего душ наших. Ой, нет,— поправились она,— и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Видишь!

— Что с тобой делать,— подчинился дедушка,— придется рассказывать.

— Это было накануне Рождества Христова тысяча девятьсот шестнадцатого года,— старательно выговаривая числа, пытаясь подражать говору деда, вступила Катя.— Я тогда находился на излечении в госпитале...

— Да, милая внученька, был я в госпитале и скажу тебе, не чаял выйти из него живым. Цельный месяц лежал пластом, рана моя не заживала, болела, нарывала, гноилась сильно...

— Гноя, случалось, набиралась не одна кружка,— серьезно сказала Катя, знавшая наизусть рассказ деда и дополнявшая его, если дед что-либо пропускал.

— Да, верно. Спать я от боли не мог. Горит рана, ровно кто углей мне каленых за пазуху насовал. Со мной в палате еще девять человек таких же бедолаг, тяжелораненых. И сказали нам, что придет проведать нас Государыня Императрица Александра Федоровна. Научили, как Ей отвечать должно, переодели нас в новые рубахи, простыни свежие постелили, хотя белье второго дня как сменили. После завтрака и утреннего обхода в палату отворилась дверь. Ожидали мы Царицу увидеть в царском уборе, с короной, как изображена Она с Царем на портрете, что возле образов в палате висел, а вошла сестра милосердия в простом, длинном до пят, белом платье, в косынке с красным крестиком на челе. Высокая, красавица писаная, сразу видно, что Царица. Взгляд добрый, светлый, но печальный.

— Деда,— перебила Катюша,— правда, у меня взгляд тоже печальный? Посмотри.

Дед поцеловал внуку в ясный лобик.

— С чего же ему у тебя печальным быть? Ты же дитя — ангелочку подобна, какие у тебя заботы да печали, а ее доля, матушки нашей, за всю Россию перед Творцом печаловаться. Доктор с Нею наш, начальник госпиталя, другие люди. И направились Она сразу ко мне, не то сказали Ей, не то почувяла Она, что я самый тяжелый. Подошла, присела на койку. Доктор ей что-то бормочет сзади, Она повела своей царской ручкой: не мешай, дескать. Доктор и отдалился.

— Как тебя, солдатик, зовут?

— Рядовой первого батальона, первой роты, первого взвода Вологодского Александра Невского полка Иван Молодцов,— рапортую я, а у самого круга в глазах. Тошно мне, болит рана, мочи нет.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать один год, Ваше Императорское Величество, с ноября девяносто пятого года рождения.

— А число?

— Третье ноября, Ваше Императорское Величество.

— Надо же,— улыбнулась Она,— какое совпадение. День в день ты родился, как моя Оля. Называй меня просто — сестра. Куда ты ранен?

— В грудь, Ваше Импе...

— Сестра, сестра. Как это случилось?

Иван Алексеевич задумался на мгновение, вновь вспоминая ту чудесную встречу, озарившую благодатным светом всю Его жизнь.

Катя терпеливо ждала. Бросив кухонные хлопоты, за шкафом, отделявшим большую комнату от кухни, стояла и слушала мама. Ей тоже было не впервой слушать эту бль, но каждый раз она трогала и наполняла душу какой-то грустной радостью. Она не могла надоест, как не могли надоест и прискучить жития святых и, слушая неторопливое повествование старца, удостоенного Господом поистине библейской долготы дней, было грустно и радостно думать о тех временах, когда у нас была совсем иная жизнь, совсем иные люди, был у нас Царь, и была Царица.— не злая, рыжая немка, как поганили и чернили Ее писаки, а возвышенная женщина, умевшая поговорить с простым солдатом, как с родным сыном.

— А случилось это так. Пошла наша рота в атаку. Спереди и сзади пушки грохочут; пулеметы бьют, крик по всему полю. Прорвались мы через проволочные рогатки, вышибли немцев из траншеи, гоним их. Взводный наш, молоденький поручик, худенький, росточка не великого, а храбрый, как орел. «Вперед, ребята!» — кричит. А из-за бугорка на него немец со штыком, заколет сейчас. «Ваше благородие, берегись!» — кричу я и немцу на перехват. Да малость не успел, немец взводного прикладом в голову оглушил и на меня. Ражий детина, косая сажень в плечах, усищи, как у тигра. Только и я малый не промах, грузчиком до службы в артели в Архангельске работал, пианину, бывало, по трапу несу, ни одна жилка не дрогнет. Бьемся мы штыками, хруст да звон идет. Я, Ваше Импера... сестра, матушка Государыня, в полку по штыковому бою всегда призы брал, а вот не могу его одолеть, нашла, видать, коса на камень. Сплюхвал я, тут он и дал мне в грудь штыком. Опрокинул меня наземь, замахнулся, чтоб на разу порешить, да взводный на мое счастье очухался, из револьвера германца и уложил. Доставили меня в лазарет полевой, сюда в госпиталь, да рана-то заживать никак не хочет, не жилец я, наверно, на белом свете.

— Поправишься, Ванюша, не тужи,— говорит Она мне.— Бог милостив. Так страшно на войне?

— Страшно, Матушка, как не страшно.

— За грехи Господь нам испытание это послал. Как осилим его, добром или грехом, так и после жить будем. За Государя молишься?

— А то как же. Как положено: утром и на сон грядущий.

— Ты не как положено, ты сердцем молишь.

— А я иначе не умею.

— Вот и молись, Ванюша. Трудно сейчас Государю. Со всех сторон враги Его обошли, и чужие, и свои. Свои-то страшнее. Говорят о России, мыслят о себе. Молись и Господь тебя исцелит.— Возложила Она свою левую ручку мне на голову, правой рану мою перекрестила, наклонилась, облобызала меня в щеку и перешла к Степану, соседу моему.

Так-то у каждого Она и посидела, каждого пригрела ласковым Своим словом.

Наступил вечер. Свет в палате потушили, одна лампадка у образа великомученика Пантелеймона теплится, мерцает, ровно звездочка. Твержу я молитовки вечерние, одну за другой, боль моя куда-то ушла и чудно мне стало, понять не могу — что со мной. Телом я как будто в палате обретаюсь, друзья рядом спят, а душой в саду дивном хожу. Что за сад такой, ведь зима за окном, а здесь деревья зеленые, цветы, трава-мурава кудрявая, птицы поют и таким духом сладостным, ладанным веет, что дышишь, не надышишься.

Спал я или не спал, только на дворе уж светает, а я словно заново родился. Ничего не болит у меня, душе открылся простор небывалый, в голове думы вольные, бодрые. Встал я, да соколом по палате хожу. Доктор в палату зашел и ко мне, растопырив руки, бежит:

— Ложись сию секунду, кто вставать позволил?

— Да на что мне лежать, коли я здоров совсем,— говорю я ему, да рукой-то, которой вчера шевельнуть не могу, как прижамкну его к себе, он аж ойкнул.

Бинты с меня сняли, доктор и руками всплеснул.

— Господи, Пресвятая Владычица,— говорит да не переставая крестится.— Чудо, чудо подлинное! За одну только ночь такая рана зарубцевалась. Такая рана! Смотрите, и кожа новая выросла.

Из других палат доктора набежали, крутят меня, рассматривают со всех сторон, поверить не могут.

— Так вот, внученька, и повидал я ее, матушку-Государыню.

Катя обычно по окончании рассказа дедушки принималась усердно лечить кукол: делала им перевязки, ставила градусники, компрессы, уговаривала их потерпеть, крепиться, брать пример с солдата Ивана Молодцова. Сегодня она задумчиво отошла в уголок под иконы и, взявшись ручками за нижний край покатого аналоя, смотрела на них. Какая-то

внезапная мысль пришла ей. Такое бывает с малыми детьми. Их беда, что они подчас не могут выразить посетившее их откровение словами.

— Деда,— спросила она наконец,— а если б Царица не пришла, ты бы умер.

— Катя,— сказала мама,— оставь дедушку в покое, он устал. Ступай, займись каким-нибудь делом.

— Деда, скажи.

— Как знать. Дела-то мои были плохи.

— А если б ты умер, и мамы нашей не было бы?

Дедушка развел руками.

— А без мамы и меня бы тоже?

Мама, угадавшая ход мыслей дочери, присела к ней, обняла за плечики.

— Все правильно, Василиса Премудрая. Если б не Александра Федоровна, тебя бы не было. Уж не хочешь ли ты сказать, что ты Ее внучка?

— Деда,— что-то еще хотела спросить Катюша, но мама на цыпочках повела ее из комнаты.

— Тсс, дедушка спит.

Иван Алексеевич Молодцов, отметивший неделю назад свой сто первый день рождения, рядовой Российской Императорской армии, Георгиевский кавалер, воин Белой армии, тридцать лет мыкавший свое русское горе на чужбине и полвека назад возвратившийся на Родину, спал. Кто ведает, что снилось ему сейчас накануне наступившей Рождественской ночи.

МАЛЕНЬКИЙ ЗЕЛЕНЬЙ КРОКОДИЛ

(египетская легенда)

Это случилось давно, когда Осирис являлся на землю в образе человека, Нил разливался, как океан, а люди были могучи, как львы, и слабы, подобно былинке у подножия пирамид. Тогда еще само время было молодо.

Египтом правил могущественный Фараон — Солнце правителей, Владыка сияния, сын Ра, внук Пта, царь Верхнего и Нижнего Египта. Поистине, не было ему равных в подлунном мире. Никто не осмеливался противостоять могущественнейшему из Владык — ни держава хеттов, ни грозное Митанни, ни Вавилон. Не было врага ни в Нубии, ни в Сирии. Дом оружия был заперт, луки, палицы, боевые топоры и пращи мирно лежали в его кладовых. Воины могли беззаботно вытянуться на своих спинах, есть досыта и пить вволю: жены и дети были при них. Вельможи покоренных стран гнули спины рабами в амбарах Фараона. В столицу страны стекались несметные богатства: ароматы и ценное дерево из сказочной страны Пунт, серебро, медь, драгоценные камни. Золото было в Египте, что пыль.

Страна благоденствовала, наслаждаясь спокойной жизнью.

Благоденствовал и Фараон. Множество советников и придворных окружало его. Но любил он среди них только чати Рахотепа, — мудрого верховного визиря, носильщика опахала по правую руку царя, начальника конницы его величества. Ни одного государственного дела не начинал Фараон без совета с ним. Чати ведал царским двором, все канцелярии и управления столицы были подвластны ему, он заведовал землями и каналами, командовал крепостями, набирал войско и флот. Он построил стену от Асуана до Филэ, о которую, как волны о скалу, разбились набеги нубийских кочевников. Он присоединил к Египту медные рудники Синая. Он обнес стенами заболоченные места и осушил их. Количество полей было удвоено, житницы наполнены так, что они ло-

мились. Он наводнил страну пищей и запасами: быками, телятами, гусями, хлебом, вином и плодами. Египет превратил он в цветущий сад.

Поистине, если бы судили боги родиться Рахотепу в этой жизни Фараоном, слава о нем пронеслась бы до отдаленных концов вселенной.

Завистники, которых и в те времена было немало, вливали в божественные уши Сына Неба клевету на Рахотепа. Шептали и злословили вслух, будто бы он вьет петлю измены, за личиной кротости и послушания таит вероломство.

Фараон отсылал злоречивых наушников в окраинные номы, чтобы там, в мрачных пустынях, в глухих горных ущельях клевета сгинула вместе с ними.

Никогда в сердце своем не помышлял Рахотеп о троне избранника богов.

Беспредельно умножил Фараон милости к своему слуге. Дворец, что подарил он Рахотепу, можно было бы назвать чудом света, если бы таким чудом не был сам царский дворец.

Семьдесят комнат и коридоров насчитывалось во дворце Рахотепа. Парадный зал, покои хозяина, оружейная, зверинец, библиотека, комнаты детей и жены. Стены и полы дворца расписали лучшие художники. Картины битв с врагами Фараона, охоты на Ниле на гиппопотамов, уборки урожая и молений богам украшали его.

В саду, что был позади дворца, в рощах акаций, финиковых пальм и сикомор развилась шаловливые обезьянки, порхали оранжевые хохлатые удоны. На лужайках, среди цветов, распустив веером пышные, радужные хвосты, гуляли павлины, а ночью меж деревьев, бесшумно, как тени, появлялись в свете луны и исчезали длинноногие, угольно-пятнистые сторожевые гепарды.

Посреди сада раскинулся великолепный пруд. В нем цвели лотос и лилии, плескались красногрудые гуси и крякали утки, вышагивали розовоногие фламинго, а в просторных садках бродила густыми стадами редкая, отборная рыба. Пруд был так велик, что когда ночью богиня Нут надевала свой темный плащ, то ее дети-звезды все до единой отражались в нем.

Как чаша, была полна сокровищница Рахотепа. В ней багровели рубины и небесно сиял лазурит, рядом с ярким изумрудом темнел нефрит из далекого Китая, индийские алмазы затмевали своим блеском солнце.

Но сокровищем, которым больше всего на свете дорожил Рахотеп, были не слитки золота, не жемчуг; который доставали ныряльщики из

пучин аравийских морей, не резные перстни из халцедона, яшмы и сердолика, дороже всех богатств была для него жена — божественная Анхесенпаатон.

Волосы ее, как золотистые лучи восходящего солнца — так были прекрасны они. Глаза ее были подобны кротким глазам газели, мерцающим в сумерках опалам были подобны они. Ее голос струился, как хрустальный речей в горах, как воркование горлинки, как пение лютни звучал он.

Поистине, не рождалась на земле женщина, которая превзошла бы красотой несравненную Анхесенпаатон.

Но как лев прыгает из засады на жертву и ударом могучей лапы сокрушает ей хребет, как гнев богов постигает людей и тогда дрожит земля и колеблются незыблемые храмы, так настал тот черный день, когда Рахотеп узнал, что лишился своего сокровища, любовь его похищена.

Правитель сада донес ему, что во время его поездки на серебряные рудники Анхесенпаатон купалась в пруду со старшим писцом, оставленным за хозяина дома.

Не поверил этому Рахотеп. Этого не могло быть. Однако призванные свидетелями Начальник пруда, Учитель гепардов и Кормитель священных кошек удостоверили страшную правду.

Воспылав гневом, чати хотел кинуть старшего писца голодным гиенам, которым отдавали на расправу дерзких рабов, но, следуя мудрому правилу, отсрочил свой приговор до завтра.

Ночь он провел в горестных тяжких раздумьях. Почему так случилось? Почему — жена, отрада и утешение его дней, мать его троих старших сыновей, командовавших отрядами царской гвардии, презрела его любовь, променяла ее на ласки писца, которого он мог смести с лица земли, как прилипшее зернышко проса с хлебной лопаты? Как найти ответ на эти вопросы? Ведь любовь — это тайна, а тайны ведомы одним богам. Поэтому, как решат боги, так и должно быть.

Утром, лишь только Ра выплыл на солнечной барке на синее море неба, Рахотеп, не сомкнувший ночью глаз, направился к Верховному жрецу.

Вслушав чати, жрец сказал:

— Следуй за мной, господин.

Длинными сумрачными переходами, шествуя в прохладной тишине вдоль коллонад, как в лесу величественных, окаменевших стволов лотоса и папируса, они вступили в святилище богини Нейт — Великой Мате-

ри богов, крокодилов и людей. Богиня, восседавшая на возвышении в короне Верхнего и Нижнего Египта, кормила грудью двух младенцев-крокодилов.

Воскурив душистый фимиам перед статуей богини, жрец запел священные гимны. Это он проделал трижды, раз от разу увеличивая протяженность гимнов и заклинаний.

Завершив тайнодействие, жрец почтительно, двумя руками поднял какой-то предмет, лежавший между ног богини и, поклонившись, вручил его Рахотепу.

На ладони чати находился крохотный, величиной не более семи пальцев, крокодильчик. Изумрудная, влажно блестящая зелень кожи на спине перетекала в коричнево-желтую, как Нил в половодье, рубчатую с черными крапинами кожу живота. Спина, уснащенная пятью рядами гребней, как пятью рядами пил, переходила в гибкий хвост. Коготки лап, поджатых к животу, кололи как иглы, а в приоткрытой пасти виднелись белые, острые, как серпы жнеца, зубы. В глаза крокодильчика было жутко смотреть: казалось, вот-вот они моргнут.

— Ни одно преступление не может остаться безнаказанным, — возвестил Верховный жрец. — Любовью боги создали мир. Предавший любовь не достоин жить. Пусти дитя Нейт в пруд, если нечестивцы вновь окажутся в нем. Ты увидишь, что будет.

Вернувшись домой, Рахотеп не находил себе покоя. Ведь от жреца он принес смерть для любимой жены. Вспоминая минувшие годы, первую встречу с Анхесенпаатон во дворце Сына Неба, он видел, что любовь по-прежнему жива в его сердце. Может, он чем-то виноват, что она разлюбила его? Как ткачиха перебирает нити в станке, так день за днем перебрал чати в воспоминаниях свою жизнь. Государственная служба, опасные военные походы — он надолго отлучался из дома, но всегда думал и помнил о ней. Каждая встреча по возвращении была для него праздником.

А как сумеет объяснить случившееся сама Анхесенпаатон?

Она явилась к нему умашенная благовониями. Золотые браслеты с голубыми скарабеями Хепри были на хрупких руках ее. Прозрачно-воздушный хитон облекал ее тонкое тело. Волосы, стянутые по лбу голубой повязкой, с нашитыми на нее рубинами, ниспадали на плечи множеством струек-косичек, в каждой из которых блестела серебряная или золотая нить с бирюзовой подвеской на конце ее. Взгляд не мог насытиться, созерцая эту красоту.

Не дав мужу вымолвить слова, покрывая его руки, грудь и лицо поцелуями, Анхесенпаатон, ласкаясь, поведала ему свою обиду: Правитель сада домогался ее любви, но, получив гордый отказ, теперь порочит ее слухами, низко мстит ей.

— Но так говорит не один он,— смутясь, возразил Рахотеп.

— Зачем слушать злых людей,— с заблестевшими от слез глазами говорила Анхесенпаатон,— когда я люблю тебя? Неужели ты не веришь мне?

Как ни было трудно Рахотепу, он велел пытаться Правителя сада, Начальника пруда, Учителя гепардов и Кормителя священных кошек, долгие годы преданно служивших ему. А Учитель гепардов даже спас ему жизнь в битве при Мегиддо.

Любившие своего господина слуги не пожелали купить ложью избавление от мук. Претерпев жестокие пытки, никто из них не отрекся от своих слов, однако Правитель сада, должно быть, не вынес позора, на другой день повесился на ветви акации в саду.

«Кому верить? — взволнованный его гибелью, терзался сомнениями Рахотеп.— Анхесенпаатон или слугам?»

Вскоре чати собрался в поход ко второму порогу Нила. Вечером его дворец засиял огнями, наполнился музыкой — чати давал прощальный пир. Проворные, ловкие танцовщицы услаждали гостей своим искусством. Мимы разыгрывали сцены из жизни богов. Прибывшие из Греции бродячие сказители пели о деяниях героев. Эти музыку и песни могли слышать Начальник пруда, Учитель гепардов и Кормитель священных кошек, томившиеся в грязной, кишевшей крысами и ядовитыми змеями, подземной тюрьме. Им, оболгавшим супругу чати, жить оставалось до возвращения хозяина из похода.

На рассвете открылись дворцовые ворота. Под охраной боевых колесниц и отряда воинов тронулся в путь караван. Побрякивали бубенцы верблюдов, шагали, отягощенные поклажей, мулы. Шли воины, писцы, носильщики, повара. Все знали, что ночью хозяин внезапно занемог, но, покорный воле Фараона, не отложил похода. Его, больного, несли в плотно занавешенных ковровых носилках.

Стихая, смолк вдали шум каравана. Чати, находившийся в потайной комнате дворца, никем не замеченный, прокрался на берег пруда, спрятавшись в зарослях тамариска.

Недолго пришлось ждать ему. Внутри дворца послышались напевы лютни, в переливчатое посвистывание свирели вплеталось ритмичное

поцелкивание систра. Страстная мелодия нежных, чарующих звуков все слышнее, ближе.

В гирляндах цветов, в сопровождении свиты служанок-рабынь, Анхесенпаатон, накануне ласково прощавшаяся с ним, шла к пруду со старшим писцом. Опьяненный страстью, обезумев от мнимой безнаказанности, вор любви пел:

Как сладки финики на высокой пальме,

Так сладки твои долгожданные губы.

Позади тревоги и страх. Мы одни.

Вкусим же радости чистой любви.

Враги наши повержены и далеко старый хозяин...

Рахотеп укротил закипевшую в груди ярость, хотя зрелище, которое он наблюдал, раздирало его сердце.

Уже сброшены легкие одежды. Беспечные любовники под пахучим дождем лепестков роз, которые из серебряных корзин сыпали на них рабыни, сошли в пруд. Звуки поцелуев, счастливый, восторженный смех стелились по водной глади.

Чати положил крокодильчика на воду. Малютка затонул, и в один миг — скорее, чем человек успеет вздрогнуть — вдруг вырос в громадного семи локтей роста крокодила. Мрачным, мертвым бревном покоился он на дне. Но вот, закружив на поверхности воды буравчики водоворотов, шевельнулся грозный зубчатый хвост, моргнули выпуклые глаза, длинное гигантское тело затрепетало, оживая, насыщаясь хищной, звериной силой.

Свирепая зеленая молния, рассекая воду, ринулась вперед, и крики Анхесенпаатон и старшего писца слились в захлебнувшийся вопль. За визжали, разбегаясь, служанки, загомонили в ветвях пальм обезьяны...

Взбурлившаяся гладь пруда улеглась, снова стала, как зеркало, только в одном месте вода покраснела, словно со скользившей по пруду прогулочной папирусной лодки кто-то пролил в воду из разбившегося бесценного сосуда немного гранатового сока.

СОДЕРЖАНИЕ

БРИГАДИР ЗЕМЛЕКОПОВ САША ГОЛОВACHEВ И ВСЕКРЫССИЙСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ	3
НАКОНЕЧНИК СТРЕЛЫ	22
ЧЕЛОВЕК-РЕКА	28
ИВАН ИВАНОВИЧ — МЫСЛИТЕЛЬ НА ПЕНСИИ	32
ЦАРИЦЫНА ВНУЧКА	51
МАЛЕНЬКИЙ ЗЕЛЕНый КРОКОДИЛ	57